

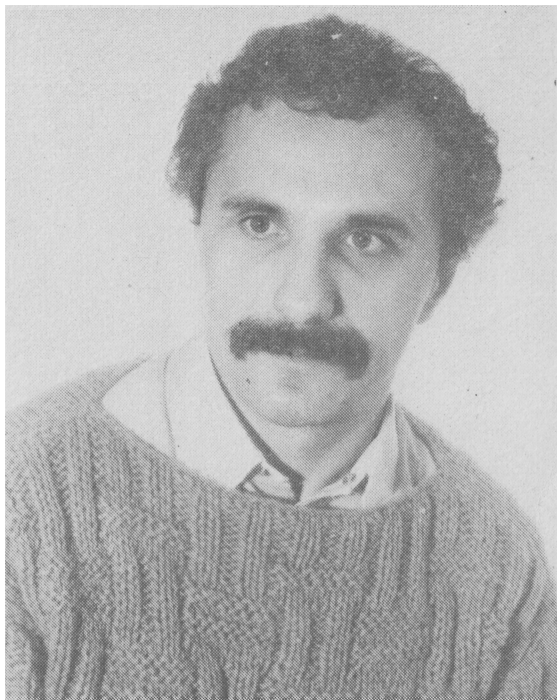
БИБЛИОТЕКА



МОСКВА

ISSN 0132-2095

№ 35 1991



Александр ХУРГИН

ЛИШНЯЯ ДЕСЯТКА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 35

Издается с января 1925 года

Александр ХУРГИН

ЛИШНЯЯ ДЕСЯТКА

РАССКАЗЫ

Москва. 1991

Александр ХУРГИН

Александр Зиновьевич Хургин родился в 1952 году. Живет в Днепропетровске. Окончив горный институт, работал по специальности инженером-механиком. Рассказы Хургина публиковались в «Огоньке», «Литературной газете», журнале «Литературные записки». В этом году книга прозы Хургина выходит в издательстве «ПИК».

Рассказы Александра Хургина необычайно точны и достоверны, работа со словом в его миниатюрах филигранна. «Зощенко без веселья» — так можно определить характер мрачного реализма рассказов этого писателя.

ОТСТРЕЛ

На мехзаводе раз в году отстреливали собак. Обычно — к Октябрьским. Потому что их разводилось больше чем надо. Собак заведующий материальным складом держал, чтоб охраняли социалистическую собственность от народа, а они, собаки, плодились. К началу осени уже и на проходной жили, и в гараже. Целая стая. В воскресенье по заводу не пройти — сожрут. Они же наглейют, когда их много, а людей мало. Поэтому их и отстреливали каждый год. Дедок один отстреливал. В охране работал. Он умело стрелял, дедок этот. Никогда не мазал. Точно в лоб попадал. Или в крайнем случае — в затылок, чтоб не мучилось животное. А собаки, пока поймут, что к чему, он их уже и перестреляет. Они же не могли ожидать такого, потому что дедок этот их кормил. Конечно, они его не боялись.

А в этом году дедок уволился. Сказал:

— Старый я стал работать. Буду на пенсии жить, — и уволился.

Теперь никто собак стрелять не брался. Охранники сказали:

— Мы вам охранники, а не живодеры.

А на улице давно декабрь. А собаки все бегают. За машинами гоняются, на людей гавкают.

К этому дедку домой сходили, попросили помочь родному заводу. Но он отказался. Сказал:

— Хватит с меня, пострелял на своем веку! — сказал: — Вызывайте будку.

А на место этого дедка в охрану устроился Савельин из кузнечного. Ему около года до пенсии оставалось — до пятидесяти лет то есть, — он и устроился. Зарботок у него средний — хоть какие пять лет возьми — за триста был. Чего ж ему не пойти в охрану? Тем более сил у него стало мало. Правда, начальник цеха его отпустить не хотел. Говорил:

— Где я такого машиниста молота найду?

Савельин ему объясняет, что силы у него уже нету так пахать — выработался. А он слушать даже не хочет. Говорит:

— Ты на свою рожу посмотри.

А что рожа? Рожа у Савельина красная. Что да, то да. Сосуды у него так расположены. Капилляры.

Пошел, короче говоря, Савельин к самому замдиректора по кадрам и быту. У них Гунидов Петр Петрович замдиректора работал. Пришел к нему Савельин, так и так, объясняет, здоровья нету — на молоте в горячем цехе, разрешите, говорит, до пенсии доработать охранником. А Гунидов говорит ему:

— Что это вам, Савельиным, все чего-то надо? Сын твой из кабинета не вылезает — инвалид труда, понимаете ли, — теперь вот еще и ты. Тебе молоко выдают?

— Выдают, — Савельин говорит.

— Ну и работай. А если больной — неси документ, рассмотрим. Дома дочка увидела Савельина и спрашивает:

— Чего злой?

— А ничего, — Савельин говорит.

Он дочку-то свою не жаловал. Она тоже на мехзаводе работала, в конторе, ну и путалась с Полупаевым — с директором. Причем в открытую путалась. Было — прогуляла после выходных, в понедельник, начальник ее раскричался:

— Пиши объяснительную, — кричит, — я с тебя за прогул премию сниму и тринадцатую сниму, все, короче, сниму!

Ну, она и написала, что я, такая-то и такая-то, находилась тогда-то и тогда-то с тов. Полупаевым Л. А. на его личной даче, редиску полола. В чем и подписуюсь. Начальник проверил — точно, не было Полупаева в понедельник. Секретарша сказала — вызывали на совещание в обком партии. Прием трудящихся по личным вопросам отменять пришлось.

За эти дела Савельин и не жаловал дочку. А тут или выговориться ему захотелось, или, может, само прорвалось, но он ей взял и рассказал все. И про то, что силы не стало совсем, и про Гунидова.

— Так чего ж ты сразу не сказал? — дочка говорит. — Я Лёнику шепну, — это Полупаева она так, Лёником, звала, — он тебя куда хочешь переведет.

Савельин думал, треплется его дочка, когда — нет. Завтра нашла в цехе и говорит:

— Пиши заявление. Лёник сейчас подпишет — и иди в кадры, оформляйся.

За один день Савельин перевелся. И стал на проходной работать. Охранником. Сутки работает, трое — дома. Ночью вполне вздремнуть можно — они по четыре человека дежурили, — а днем тоже не надорвешься. Нормальная работа. Особенно если здоровье плохое. Платят не густо, но Савельину и не надо больше. Дети взрослые, обеспечены, и на книжке у него немного есть. В общем, нормальная работа. Сиди, пропуска проверяй или ворота открывай-закрывай, кнопкой. Простая работа. Хотя тоже свои нюансы имеет. Савельин по неопытности быстро напоролся. То есть он прав был, он же при исполнении, а машина подъехала к воротам и сигналист — открывай. Савельин проверил кузов, а там доски. Струганные — одна в одну.

— Пропуск давай,— Савельин говорит,— тогда открою.

А шофер ему:

— Открывай, хуже будет.

На это Савельин, конечно, уперся. Старшему охраннику доложил, что акт надо составлять. В это время шофер Гунидову позвонил. Гунидов старшего охранника к телефону позвал и говорит:

— Выпустите машину, олухи!

Старший охранник отвечает:

— Есть!

А Савельин стал на своем и стоит. Пусть пропуск дает. И настоял. Пропуск выписали и подписи все поставили по закону, и печать. Что на строительство детского комбината машина доски везет, написали. Савельину ничего не оставалось. Выпустил он машину. А старший охранник говорит ему:

— Дурак ты, дурак, Савельин. Это ж Полупаеву на фазенду доски, для сауны. А ты лезешь.

— Надо ж тебе,— Савельин думает,— ну что хотят, то делают. И на гласность эту кладут, и на все. Собаки!

А назавтра после этого происшествия собрание открытое проводили. Савельина тоже загнали для количества. Ему все равно, время рабочее — пошел.

Сначала там все как всегда было. Выступали, выступали, аж в сон всех кидать стало. А потом, в конце уже, встал из президиума Полупаев и говорит.

— Товарищи! — говорит. — Я хочу обратить ваше пристальное внимание на неудовлетворительную работу наших заводских охранников. Мало того, что ночью они все поголовно спят, вместо того чтоб работать, так еще и собак на проходной держат бешеных. Стаю. А вчера просто отличились. Машина везет материалы на детский комбинат, который мы обязались подарить нашим детям еще к празднику Великого Октября, а охранник Савельин ее не выпускает. Ему заместитель директора приказывает, а он не подчиняется. И вообще я не знаю, посмотришь на наших охранников — их против танков пускать можно, а они на проходной сидят, жиреют в то время, как другие, не жалея... — ну и все такое прочее и тому подобное.

И в заключение речи Полупаев пообещал собранию, что он этого так не оставит. Потому что это уже совсем...

Вышел Савельин из актового зала, когда собрание объявили закрытым, сел в дежурке и смотрит в окно на собак. А собаки грызутся между собой, рычат, лают. Савельин и говорит тогда старшему охраннику:

— Выдавай,— говорит,— мне карабин. И две обоймы выдавай.

— Ты чего это? — старший охранник спрашивает.

— А чего? — Савельин говорит. — Собак отстрелять надо?

— Надо.

— Ну?

— А-а,— старший охранник обрадовался.— Это дело полезное. А то будку вызывать — столько мороки!

Выдал он Савельину карабин, вышел Савельин из дежурки, карабин вскинул — примерился. Потом прижался к нему, как к родному, чтоб рука не дрожала, и на спуск стал нажимать. Раз, другой, третий.

Собаки визжат, вертятся, падают, а он повторяет только:

— У, суки,— и нажимает.

ДУРАЦКИЙ СЛУЧАЙ

Иванова была старухой. Толстой и шустрой. И целыми днями гуляла. На скамейке у подъезда. А недавно она гулять перестала. Вернее, она и сейчас гуляет, но только у себя на лоджии. Хорошо, на первом этаже лоджия есть. А выйти Иванова не может. Ее недавно парализовало. Всю левую сторону. Кровоизлияние у нее было, поэтому ее и парализовало. И вынести ее на улицу некому — Федя старый уже для этого. Да и незачем ее выносить. На лоджии тоже воздух. И видно все. И удобно. Она же в кресле сидит. Покормить, помыть, повернуть, посадить — со всем этим Федя справляется. А на улицу вынести не может. Хоть всего три ступеньки там. Кое-как на лоджию вывести — это он пока в состоянии. Выведет, посадит ее в кресло, она и сидит. Молчит. Речь у нее после кровоизлияния тоже отнялась. Скучно ей небось сидеть на лоджии и молчать.

Раньше-то она со всеми беседовала. Кто бы ни шел — остановит. Как дела, спросит, что нового, что где продают. И знала обо всех все. Кто женился, кто уехал, кто с кем. Умер кто-нибудь — тоже всегда знала. И на все похороны в округе ходила. Помогать. Если ее не звали, она все равно ходила. Интересно ей было, что ли?

Федя ей нет-нет, и скажет:

— Рая, оно тебе надо, чужое горе?

А она говорит на это:

— Надо. Я ж,— говорит,— помогаю или что я делаю?

Наверно, дома работы ей не хватало. Поесть стоговит на двоих, приборет — и кончились дела. А когда-то у нее семья была не то что теперешняя. Как у людей была семья. То есть у Ивановой две семьи было. Сначала, до войны, у нее был муж парикмахер, Миша Гольдин, и двое детей — Иося и Фима. А за Федю это она в самом конце войны вышла, когда совсем уже одна осталась. Вышла и стала Ивановой. Они хорошо с ним жили. Всю жизнь. Только с детьми не везло. Ни одного не вырастили из троих. Вдвоем жизнь прожили и на пенсию вышли. А в старости, конечно, скучновато стало им жить. Поэтому Иванова и суетилась вечно.

Соседи на этаже все молодые, на работу утром уйдут, а приходят — вечер давно. Так Иванова — когда за маслом очередь днем выстоит

и им заодно возьмет, когда талоны на сахар и мыло в жэке получит. А то и отоварит их все. У нее сумка есть на колесах — огромная. Рюкзак, а не сумка. Так она набьет ее доверху и прет еле-еле. Федя ворчит, а Иванова говорит:

— И чего ты, Иванов, выступаешь? Она ж на колесах. Или тебе по-вылазило?

Говорят — антисемитизм, антисемитизм, а Федя ее любил. И соседи любили. Ленка из четвертой квартиры говорила:

— Ой, Раиса Натановна, вы такая хорошая, ну совсем на еврейку не похожи. И что б мы без вас делали?

Ленка, конечно, дура, но права. Иванова их выручала. У них же у всех дети. Из школы придут и носятся по двору — собакам хвосты крутят. А на каникулах — весь день без присмотра. Летом еще, допустим, в лагерь можно их сдать на месяц. Или на два. А потом? Вот Иванова их и пасла. Воспитанием занималась. Манерам не обучала, а чтоб не дрались или не лезли куда не надо — следила. И накормит детвору всегда. Ей соседи ключи оставляли. Ну, она зайдет, разогреет, что там у них есть, и накормит детей. Пускай один раз в день — и то дело. Оно, может, все это и не так важно, может, дети и сами бы себе обед разогрели, но матерям спокойнее. И Иванова при деле. Дети ее бабой Раей звали, а родители их — соседи то есть — те вообще: Ленкин муж картошку на зиму каждый год привозил на своем КАМАЗе. Привезет и еще в квартиру затащит, и на лоджию вынесет. Если телевизор или уютю починить — это Валера из второй всегда пожалуйста. Ладили они, короче, между собой. Не потому, что зависели как-то там друг от друга, а просто. По-людски. И если б не тот случай дурацкий, так бы оно и шло, как шло. Может, и кровоизлияния никакого не случилось бы у Ивановой. И надо ж было Кольке с Темкой пропасть! Вернее, как пропасть? Не пропасть, а исчезнуть. Только что были — Иванова их видела — и исчезли. Сперва она ничего такого не подумала. Но час проходит, два — она их искать. Вечер уже вот-вот, а их как и не было никогда.

Иванова с Федей бегали, бегали, потом сели на скамейку свою у подъезда, охают и за сердце держатся. Тут и соседи с работы пришли. Сначала Ленка — она близко работает, в химчистке, за ней Темкина мать — Наташа. Ну, и началось. Куда ни кинутся — нигде никаких следов. А Иванова сидит на скамейке, не шевелится — бледная и дышит через раз. Федя очухался малость после бегов, а она нет.

В общем, мотались они, мотались — все на нервах, вот Ленка и отъезжала на Иванову. По глупости своей:

— Учти, — говорит, — морда жидовская, если не найдется Колька мой, я тебя сама, своими руками удавлю и глаза повыцарапываю.

И что смешно, она говорит это, а Колька с Темкой у нее за спиной стоят. Пришли и карасей принесли десяток. Они, оказалось, рыбу ловить ездили. На катере. Им на мороженое по двадцать копеек оставили, а они на катер сели и на остров рванули. Рыбу ловить. Иванова отверну-

лась куда-то, они и рванули. А когда пришли, и она увидела их, у нее кровоизлияние произошло. Инсульт называется. Болезнь такая.

Теперь Иванова на улице гулять не может. Парализовало ее после инсульта.

Федя на лоджию ее выводит. Если погода хорошая. Выведет, посадит в кресло, она и сидит.

ДОЧКА ШУРА

В шесть часов вечера Виктор Владимирович Лосев поднял свою фуражку с земли и положил ее к себе на колени. Потом он выскреб из фуражки пальцами мелочь и пересыпал ее в левый карман штанов. После этого Виктор Владимирович Лосев встал, расправил и размял коленные и другие суставы, надел фуражку на лысую голову и потащил ящик из-под молочных бутылок, на котором до этого сидел, к магазину. Возле подсобного входа Виктор Владимирович Лосев аккуратно поставил ящик на то самое место, откуда три часа назад его взял, вышел из магазинного двора и зашел в сам магазин. В магазине он достал из правого кармана штанов три рубля и авоську и купил полбуханки хлеба, бутылку сладкой воды «ситро» и около килограмма свежемороженых сардин. А больше в этом магазине он ничего не купил, и не потому, что у него не было денег, деньги у него были. А купить в магазине ничего больше нельзя было. Не продавалось там больше ничего. Правда, на улице, около магазина, продавались пирожки с капустой, и Виктор Владимирович купил еще и пять пирожков, хотя ему и нельзя было жареного в пищу употреблять согласно диете. И вот сделал Виктор Владимирович все эти покупки, сдачу с трех рублей спрятал снова в правый карман и, откусывая от одного пирожка, медленно пошел по тротуару домой. А когда Виктор Владимирович домой пришел, его дочка дома не было, и он этому обрадовался. И сразу стал греть себе чай, чтоб согреться. Так как сильно он перемерз за три часа на улице без фуражки. И вот нагрел он себе чаю, выпил его с еще одним пирожком, потом хлеб, сардины и оставшиеся пирожки сложил на подоконнике и «ситро» рядом поставил. А закончив эти дела, он снял с себя всю одежду, включая штаны и рубашку, и лег на свою лежанку, так как чай его не согрел, и укрылся своим пальто. Потому что одеяла у него не было. У него вообще, можно сказать, ничего не было, кроме этой лежанки. Дочка Виктора Владимировича Шура то, что было в квартире из вещей — все продала. Только две табуретки самодельные в кухне не смогла продать, стол и лежанку. И еще раскладушку старую не смогла. Не взял ее ни один человек, и она, дочка, теперь на ней спала, когда приходила домой сама. А если, бывало, она кого-нибудь к себе приводила, тогда Виктор Владимирович на раскладушке спал. А другие вещи — и телевизор, и радио, и холодильник, и мебель — это все дочка давно продала. А деньги вырученные

пропила. Так как она у Виктора Владимировича была пьяницей. И со всех работ ее за это выгоняли. А последнее время она уже и не устривалась никуда, а продавала вещи из дома, пока все не продала. А когда все ценные вещи в доме кончились, стала она деньги у Виктора Владимировича просить, с пенсии, а если он ей не давал денег, Шура пенсию у Виктора Владимировича забирала всю целиком без остатка и пила на нее, на пенсию, которая равнялась ста восьми рублям в месяц. Небольшая была у Виктора Владимировича пенсия. Не заработал он большую по состоянию своего здоровья. У него всегда здоровье было плохое. Его и служить в войну не взяли по зрению минус семь диоптрий и из-за плоскостопия. И он почти всю жизнь учителем проработал в школе. Трудовое воспитание преподавал и иногда рисование вел в некоторых классах. Подрабатывал. Он рисовать с детства любил и умел. Например, картину Васнецова «Аленушка» один к одному мог изобразить красками, так, что от настоящей и не отличишь. А пенсии ему насчитали сто восемь рублей. Правда, будучи в пенсионном возрасте, Виктор Владимирович еще шесть лет работать продолжал, но потом он заболел, и ему операцию сделали по поводу удаления желчного пузыря. Три часа делали ему эту сложную операцию, и после нее он работать перестал, потому что как следует не поправился и все время плохо себя чувствовал, еле ходил и возможности работать у него не стало. И Шура к этому времени тоже нигде уже не работала из-за хронического алкоголизма. Но пенсию у Виктора Владимировича она тогда еще не отнимала, а продавала все, что ей под руку попадалось. Она только когда трезвела, ела то, что Виктор Владимирович на свои деньги покупал, а его самого не трогала. И денег тогда даже и не просила. А Виктор Владимирович сам ей дал однажды пятерку. Жалко ему стало Шуру. Ее колотило с утра и трясло, и зубами она стучала, и воду из крана пила без конца. Ну и Виктор Владимирович дал ей эти пять рублей. Пожалел. И Шура на них пошла и похмелилась и сказала ему спасибо.

— Ты меня спас,— сказала,— а то б я точно загнулась.

Ну а после этого случая Шура сама уже начала деньги у Виктора Владимировича просить. А потом и требовать начала. Виктор Владимирович ей давал, и на жизнь у него совсем ничего не оставалось. А когда деньги кончались, Шура все равно требовала, чтоб он ей их дал. Виктор Владимирович говорил, что нету у меня денег, а Шура его не слушала и говорила, что у него денег много должно быть припрятано и пусть он, говорила, их отдаст по-хорошему. И Виктор Владимирович как-то не вытерпел и отдал ей пятьсот рублей, которые были у него отложены в надежном месте.

— На,— сказал Шуре,— бери.

Шура взяла деньги у Виктора Владимировича, а Виктор Владимирович у нее спрашивает:

— Ты хоть похоронишь меня как-нибудь?

А Шура ему отвечает:

— Да ты меня еще переживешь. Знаю,— говорит,— я вас, старперов.

И ушла с деньгами, и неделю Виктор Владимирович жил тихо и спокойно. Хоть и без денег. А через неделю Шура опять за него взялась:

— Давай,— говорит,— деньги именем революции. У тебя,— говорит,— еще есть.

А Виктор Владимирович ей твердил:

— Нету у меня больше денег, все я тебе отдал. А пенсию,— говорил,— еще не приносили.

Но Шура ему верить не хотела и добивалась, чтоб он часы ей отдал.

А Виктор Владимирович сказал ей, что лучше ты меня приберй, а часы я тебе не отдам. Часы эти ему когда-то завгороно вручил в торжественной обстановке. На них и надпись есть «За трудовые победы», и в ремонте в течение тридцати лет они ни разу не были — только в чистке. И он отдал Виктор Владимирович Шура часы. И за это Шура его побила. Не сильно, правда, даже без синяков, но все равно Виктору Владимировичу обидно было. Дочь же ему Шура, родная. А не посчиталась, что он старый и операцию перенес серьезную, трехчасовую.

А назавтра как раз Виктор Владимировичу пенсию принесли, и Шура всю ее у него отобрала. Отобрала, значит, и через три дня по новой стала деньги требовать. И угрожать Виктору Владимировичу кулаками. Но тогда она, Шура, ничего от него не добиалась. Ни копейки. А Виктор Владимирович взял в долг десять рублей у соседа и на них до новой пенсии дотянул. А Шура и ее, новую эту пенсию, всю забрала. Она же знала, что пенсию Виктору Владимировичу по шестым числам приносят и сидела дома не выходя. Ждала. И как только почтальон ушел, Шура деньги у Виктора Владимировича из руки и вырвала. А Виктор Владимирович-то десять рублей у соседа до шестого числа брал. Ну, и чтоб отдать деньги соседу, пошел Виктор Владимирович к магазину, взял во дворе ящик из-под молочных бутылок, подтащил его к дорожке, которая от трамвайной остановки на проспект Правды ведет и по которой люди с трамвая идут на автобусы и троллейбусы пересаживаться, сел на этот ящик и фуражку свою в ногах положил. И стал так сидеть. Сначала, правда, ему мало давали. Вид у него потому что был несоответствующий для нищего. Одежда чистая, личность побритая, в очках, на руке — часы. То есть нормальный вид, не нищий, штаны только сильно помятые, потому что он в них спал, а так — нормальный вид. Но потом, постепенно люди привыкли к нему, наверно, и стали мелочь в его фуражку чаще кидать. А людей по этой дорожке много ходит, особенно в часы «пик», потому что трамвай из района заводов и фабрик сюда их, людей, подвозит. И Виктор Владимирович уже девятого числа утром соседу долг свой вернул сполна, но не прекратил сюда в часы «пик» приходить, а наоборот, каждый день стал сидеть тут с трех до шести часов, кроме суббот и воскресений. Приходил сюда ровно в три, а ровно

в шесть возвращал ящик на место, к магазину, и уходил. И отдавал эти заработанные деньги Шуре. А на пенсию сам жил. И Шура больше его не била, так как, когда она приходила домой, Виктор Владимирович сразу же выгребал из левого кармана пригоршню мелочи и отдавал ей. А Шура ее брала и уходила. А сегодня вот Виктор Владимирович принес деньги Шуре, а ее нету. Значит, можно было ложиться и спать, тем более учитывая, что замерз он за три часа без фуражки. Ноябрь-месяц как-никак в разгаре, и температура воздуха на улице всего плюс два градуса тепла. И долгое время он лежал и не спал под пальто. Не согревало оно его сегодня совсем, а потом заснул и спал неизвестно сколько, так как когда он проснулся, в комнате уже светло было. Проснулся он, а все кости у него ноют, и пальто на полу валяется. Поднял Виктор Владимирович пальто, накрылся им и опять засыпать стал. А проснулся — в комнате свет горит, и Шура стоит над ним, пирожок ест. Увидела, что проснулся Виктор Владимирович, и говорит:

— Деньги есть?

А он ей отвечает:

— Приболел я, наверно. Простыл.

А она опять говорит:

— Деньги есть?

А он говорит:

— В кармане.

И она подошла к нему и в карман залезла, в левый. И мелочь оттуда достала. А потом перевернула его на другой бок и из правого кармана, в котором пенсионные деньги у него хранились, все вытащила. Он лежит, молчит, а она говорит:

— Ты полежи, а я — в аптеку. Скоро приду.

И пошла. Но вернулась из коридора и часы у него с руки сняла. И ушла уже окончательно. А дверь входную открытой бросила, и теперь от нее несло холодом, и холод этот доставал Виктора Владимировича под пальто, действовал ему на нервы и никак не давал заснуть.

ЦВЕТНАЯ РУБАШКА

Лобов решил купить себе что-нибудь такое. Ну, такое, чтоб глянул на него и хорошо сделалось. И на душе, и вообще. А то, чего ж так жить?

— А так, — думал, — куплю себе костюм по моде, импортный или рубашку цветную. Или еще какую-нибудь такую чепуху. На улицу в этом выйду, а они все смотрят. А я себе иду — и ничего.

Получил Лобов получку седьмого числа и прямо с ней пошел в магазин. У них в самом центре города, на улице Ленина, большой магазин есть. Его недавно построили по иностранному проекту и называли

«ЦУМ». Центральный то есть универмаг, если буквы расшифровать. В этот новый ЦУМ Лобов со своей получкой и пошел.

— Там-то,— решил,— в центральном магазине, есть же, наверно, что-нибудь такое.

Точно он, конечно, не знал, есть или нет, но он так думал. Обычно по магазинам Лобов сам не ходил, обычно Верка, жена его, ходила. Пойдет, купит, что там нужно или, что продают, Лобов это и носит. Он непривередливый был. И не пил, кстати, совсем. И не курил. Вообще никогда не курил и не пробовал — как это. В детстве пацаны после уроков в туалете за школой часто курили — баловались, а он нет. Не хотелось ему этого никогда. И спиртные напитки не употреблял. До армии еще, по молодости, случалось, а с тех пор — ни грамма. И не курил.

— Мне это,— говорил,— не надо. Я же не враг своему здоровью. Даже гости к ним придут или они к кому-нибудь пойдут на день рождения, все пьют, и женщины тоже, а он только ест и на них смотрит.

— Зачем это вам,— говорит,— я понять не могу. Хочу понять и не могу.

А ему говорят тогда:

— Не можешь и не надо. Нам больше достанется.

Он плечами пожмет и сидит. Ест закуску и на них смотрит.

А в магазины Лобов не ходил. За хлебом, за картошкой или за другими продуктами питания мог пойти, если Верка попросит. А если ботинки купить или брюки — это все она сама покупала. И никогда Лобов не сказал, что не нравится ему или жмет, или рукава длинные. Что покупала Верка, то он и носил. И чего ей еще надо было? Главное, что обидно — не пьет человек, не курит, а она — пожалуйста.

Зарплату тоже всегда почти всю Лобов ей отдавал. Оставит себе десять рублей, а остальное — ей. Говорил:

— Я не могу, чтоб у меня в кармане было меньше десяти рублей. Десять рублей у меня всегда должно при себе находиться. Мало ли что я увижу по пути. Или, может, я захочу зайти в какое-нибудь общественное место.

Верка на это говорила, что куда там ты зайдешь, но против этих десяти рублей не возмущалась. А теперь у Лобова вся получка в кармане лежала. До копейки. Значит, с одной стороны — хорошо. Захотел купить себе вещь, получил получку и иди в ЦУМ, покупай. Никто тебе не запретит. А была бы Верка, ничего б он не купил. Правда, она сама купила б, что надо. Зато Лобов имеет право теперь купить то, что хочется ему. Костюм, может, по моде импортный или рубашку цветную, как у Димки. Вот купит и пойдет, допустим, в парк. И Верка, допустим, пойдет. И увидит его в таком костюме или в рубашке. А он, допустим, мимо пройдет и ее вроде бы не заметит. Нет, если она скажет — прости или, что ошибалась, Лобов ее примет. Чего же ее не принять, пускай будет. С ней можно жить, она не разбалованная, всегда Лобову сама поку-

пала, что надо. Он по магазинам никогда не ходил. Зарплату отдаст, а остальное не его дело. Конечно, если честно, то Лобов тоже не последний — не пьет, не курит. И зарплату вот отдавал. А чтоб гулянки всякие или женщины посторонние — этого вообще никогда не бывало. Он же не какой-то там неформал. Он раз женился — то все, железно. Да и Верка ничего такого — ни разу. Вечером всегда дома. Стирает, готовит. Ковер вместе с ней по субботам трусили. Кто ж думал, что она такая? Никто не думал. А она взяла и не пришла домой. Лобов пришел, а ее нету. И записка, кастрюлей лежит придавленная: «Я от тебя ушла».

Лобов сначала и не понял. Потом уже, когда поздно стало и темно совсем, догадался. И что самое интересное — куда ушла, зачем? Ничего не написала.

Лобов на работу к ней сходил, мастера нашел — ему его люди показали.

— А где, — спрашивает у него, — Верку Лобову можно увидеть?

— Лобову? — мастер отвечает. — А ты ей кто будешь?

— Я брат двоюродный, — Лобов говорит, — из Воронежа к ней приехал.

— А Лобова рассчиталась, — говорит мастер. — Два месяца отработала согласно КЗОТа и рассчиталась. Говорила, в другой город уезжает, на постоянное место жительства, мужу ее, говорила, работу там предложили хорошую.

— А в какой другой город, не говорила она? — Лобов спрашивает.

— Нет, — мастер говорит, — не говорила.

А сегодня Лобов Верку свою из автобуса увидел. Он на фабрику в автобусе ехал, а она по дороге шла. Если б народу поменьше было, Лобов бы мог на следующей выскочить и Верку поймать. Но он же думал, что она в другом городе живет, и не знал, что ее увидит, ну и пока из середины вылезал, автобус уже две остановки проехал. Лобов подумал, что, может, померещилось ему, потом вспомнил — нет. И платье Веркино, и походка, и все. Вот Лобов отработал день, получку получил — потому что им по седьмым числам получку дают — и в ЦУМ пошел. Пришел, походил, посмотрел. Продавщицы стоят, лялякают, люди по залу ходят — тоже, как и он, смотрят. Посмотрят и идут кто куда. Лобов костюмы пощупал — какие-то они не такие, рубашки поглядел, подождал, пока продавщицы освободятся, и спрашивает у них:

— Это, а мне б костюм купить импортный. Такой, чтоб по моде? Продавщицы заметили его и говорят:

— Все перед вами. Покупайте.

— А больше ничего, — Лобов опять у них спрашивает, — нету?

— Естественно, — они ему говорят, — нету.

— Ну, а рубашки? Такие, знаете, цветные сейчас бывают?

Продавщица, которая постарше, отошла к рубашкам и показывает одну Лобову.

— Нет,— Лобов ей объясняет.— Эта рубашка в цветочек, а мне надо цветную. Таковую, ну... Вы ж знаете, сейчас носят. Синие и с белыми пятнами. У Димки Вилова такая есть.

Продавщица чего-то разозлилась и говорит:

— Ходят всякие дураки пьяные, работать не дают.

Лобов начал было говорить ей, что он не пьет и не курит, но видит — бесполезно. Повернулся и пошел к двери, где «Выход» написано. Открыл ее, а за дверью тетка стоит.

— Эй,— говорит тетка,— мужчина!

Лобов дверь ногой придержал, чтоб не хлопнула, и спрашивает:

— Вы меня?

— Тебя,— тетка подтверждает.— Тебе что надо?

— Мне? — Лобов говорит.— Мне рубашку надо. Цветную. Или костюм.

Тетка засмеялась и удивляется:

— Ну, ты, мужчина, даешь! Разница все ж таки есть — рубашка или костюм.

Лобов молчит, а она вытаскивает из своей сумки — с ней рядом сумка стояла — прозрачный кулек.

— Такая,— спрашивает,— подойдет?

Лобов посмотрел, а в кульке ну точно, как у Димки Вилова рубашка лежит запакованная. Синяя, с пятнами и размер шеи — тридцать девять. Как раз на него.

— А сколько стоит? — Лобов у тетки спрашивает.

А тетка говорит:

— Девяносто.

— Ого.

— А ты как думал? Зато ж вещь! Ты,— говорит,— рассмотри,— и вынимает рубашку из кулька, чтоб Лобов поближе ее увидел.

Приложил Лобов рубашку к плечам, материю на прочность проверил и говорит тетке:

— Где наша не пропадала, давай.

Полез он в карман, отнял от полочки двадцать семь рублей, а остальные тетке отдал. Тетка деньги пересчитала.

— На,— говорит,— поддержи их пока, а я тебе покупку сложу.

Сложила, в кулек аккуратно всунула, деньги опять у Лобова забрала и в сумку свою их положила. Нагнулась — сумка же ее на земле стояла — и спрятала деньги внутрь. А после этого рубашку Лобову отдала.

— Носи,— говорит,— на здоровье.

Взял Лобов эту рубашку и пошел. Идет и мечтает.

— Сейчас,— мечтает,— побреюсь, оденусь в новую рубашку и пойду в парк. Или еще куда-нибудь, в общественное место. Может, Верку увижу.

Пришел Лобов домой, перекусил немного, побрился электробритвой «Харьков-6» начисто, свою старую рубаху скинул, а эту, цветную,

которую у тетки за девяносто рублей купил, на себя надел. И в штаны ее, под ремень, заправил. И складки за спину пальцами отогнал. Да, значит... Ну и к этому переобулся в выходные туфли. Коричневые у него есть, на каучуке. Щеткой по ним прошелся с гуталином и переобулся.

Хотел Лобов уже идти, но потом в зеркале свое изображение увидел, в рубашке. И не пошел ни в какой парк.

— Какая-то эта рубашка, — подумал, — клоунская. Синяя и еще с белыми пятнами. Тьфу!

ОСТРЫЙ ЖИВОТ

Саня попал в больницу. Случайно попал. Мужик он здоровый. Насморк только иногда бывает, а больше — ничего. А тут в больницу попал. Первый раз за тридцать лет. Его прямо с работы увезли. Он в стальцехе работает. На формовке. И все в норме было, а в буфет сходил, взял триста колбасы, сметаны стакан с коржиком, молока выпил пакет — и скрутило его. Наверно, колбаса несвежая была. Или сметана. Буфетчица перепугалась насмерть, «скорую» вызвала. Ну и отвезли его. Как был — в робе, — так в машину и закинули. Сказали — «острый живот».

А в больнице фамилию и все такое прочее выяснили, раздели и мыть стали. Насильно. Он ни согнуться, ни разогнуться не может — боль адская, — а они внимания не обращают. Моют, как покойника. Помыли, спецовку какую-то больничную выдали, Саня хотел трусы натянуть, но не успел. Вырубился. Потом чувствует, воды хочется, осмотрелся — кругом ночь и никого нету. И башка квадратная. Попробовал встать, черта с два. До утра промаялся — пока ему кто-то губы лимонной коркой не намазал.

В общем так — сделали Сане операцию. У него язва была прободная. Сказали, еще 6 час — и песец котенку.

Но Саня — ничего, через три дня уже в общей палате был. Большая палата. Восемнадцать человек лежит. И что особенно — все с язвой. Один только студент с поджелудочной — он на свадьбе гулял у друга, ну и не выдержала поджелудочная. А остальные — с язвой. Кстати, боксер лежал, полутяж Юра Лыков. И откуда она, эта язва, берется? Саня же вот тоже никогда на живот не жаловался. И пожалуйста — теперь, значит, больной. Врач сказал, что с формовки уходить надо. Нельзя, сказал, в ночь работать и физически — нельзя. Саня говорит:

— Там видно будет, что нельзя, что можно, вы, — говорит, — пока лечите меня, а то из меня гной все время вытекает.

— А это так и должно, — врач говорит, — не беспокойтесь.

Саня сильно и не беспокоился, но очень ему здесь, в больнице, не нравилось. Во-первых, в палате восемнадцать мужиков, у всех желудки негодные. Попробуй, полежи там. А второе, кормили паршиво. Гадо-

стью какой-то кормили, говорили — диета такая. Если б Ирка не носила из дому — засох бы от их диеты на корню. Ребята шутили: «Лечиться даром — даром лечиться», — все им смешно. Оно, когда восемнадцать мужиков валяются без дела, — им от скуки все смешно. Вон Саню второй раз резали — от гноя чистили — еле вычухался, хуже, чем после операции было, а они смеются:

— Подумаешь тоже, гной. У одного мужика, говорят, хирург нож в брюхе зашил. Кинулся следующего резать — нет ножа. Искал, искал — нету. А нож-то казенный был, денег стоил.

Так днями и лежат — ржут, кто может. А кто не может — те просто лежат. Стонут. А вечером на второй этаж ходят. Там телевизор есть. Не цветной, конечно, и звук не работает. А показывать — показывает. Изображение четкое. Если футбол или хоккей — можно смотреть, кино, конечно, не понятно без звука, а футбол — можно. А когда футбола нет, они после ужина лежа в «козла» стучат, правда, без замаха, а то врач дежурный сразу гандель поднимет — что тут, видите ли, больница у них, а не Монте-Карло какое-нибудь. Вроде бы они сами не знают, что тут у них.

Еще Ирка газеты приносила — под настроение можно читать. Оставлять только в палате нельзя. Саня раз оставил, пошел Ирке банки пустые вынести, а пришел — меньше четвертушки на тумбочке лежит. Уже, значит, попользовались. Другой же бумаги нет.

Саня недели две после операции еще как-то держался, терпел такую жизнь, а потом все ему опротивело — вонь эта, процедуры, анализы. Лежал, как колода, в потолок пялился. Вчера, правда, повеселились слезка. Когда иностранец в больницу приперся. Видно, по обмену опытом. Высоченный дядька, тощий. Из-под халата штаны видны вареные, а руки белые-белые. Ходил по больнице часа два — морщился. А за ним наших врачей — целое стадо. Впереди, значит, иностранец, рядом с ним — начальник какой-то из Москвы — тот, что иностранца этого привез, — а они всей оравой сзади. Начальник иностранцу улыбается сквозь очки ласково, на больных, что в коридор вылезли, показывает. И через каждое слово все — фо пуэ, фо бэгэ, фо пуэ, фо бэгэ.

Больные поглядели на это.

— Тьфу, — говорят. И разошлись. На койки легли в палате, лежат.

— А интересно бы знать, что очкастый ему долбил? — кто-то из угла спрашивает. — Что по-ихнему, интересно, означает, это фо пуэ, фо бэгэ?

Лежат мужики. Никто не знает. А студент койкой скрипит. Поскрипел он, поскрипел койкой этой своей и говорит:

— Травил он ему. Что эта больница для тех, кто работать не хочет и взносы в профсоюз не платит. Для бедных то есть больница и для нищих. Поэтому, значит, такой бардак.

Ну, тут все с коек начали вставать. Те, что совсем лежащие, — и то встали.

— Мы,— говорят,— в профсоюз не платим? Да мы ж всю жизнь... Мы по чегыреста в месяц...

И пошли разбираться. В коридор вывалили опять, а делегация в это самое время уходить собирается. Вот мужики иностранца оттерли, а наших в угол загнали. Стоят, смотрят на них и молчат. А Юра Лыков — полутяж который — взял главврача за душу и говорит:

— Выписывай нас всех, тварь, из своей богадельни, или мы тебе ноги из жопы вырвем, а спички вставим.

У главврача губы посинели. «Я ж, ничего,— говорит,— что ж это,— говорит,— такое творится в присутствии представителя Минздрава СССР?»

А мужики стоят толпой — и ни с места.

— Выписывай,— говорят,— кому сказано! В знак протеста!

Главврач видит, деваться некуда, но уже успокоился.

— Ладно,— говорит,— завтра же всех выпишу. И нарушение режима отмечу, чтоб по больничному вам не заплатили.

Хотели ребята надавать ему и вообще — всем, а потом раздумали.

— Ну их,— сказали,— на фиг. Пускай живут.

СВЕТ В КУХНЕ

Финогенов жил плохо и несусветно. А если честно выразиться до конца — то отвратительно. Но все же таки как-то он жил. Как все примерно люди, что его повседневно окружали на улицах и в местах общественного использования, а именно в универсаме №8 второго горпещеторга, в троллейбусе шестидесятого маршрута следования, а также еще во дворе дома 11/2 по улице Краснокирпичной, который был постройки конца девятнадцатого столетия или, может быть, в крайнем случае, самого начала двадцатого. Старого возраста, мягко говоря, дом был, дореволюционного. В прошлом еще когда-то здесь большое множество таких домов стояло в качестве доходных, а в наше уже бурное время великих надежд и свершений всего три их осталось, а другие все в постепенном порядке оказались бесследно поглощены колесом истории, и на обломках прежних эпох были отстроены современные микрорайоны из высотных девятиэтажек, оснащенных комфортабельными лифтами и мусоропроводами и всеми нужными для удобной человеческой жизни коммунальными удобствами и службами. А в доме 11/2, где с незапамятных довоенных времен культа личности товарища Сталина проживал после своего рождения Финогенов, и в двух точно таких же сохранившихся домах-близнецах-братьях, никаких аналогичного рода удобств никогда не существовало — была только одна вода холодная с хлоркой и газ природный в связи со всеобщей газификацией города и деревни. И больше ничего в этих домах не было. Уборных — и то не было внутренних, а имелась во дворе туалетного предназначения будка,

а двор своим собственным геометрическим расположением образовывали те же самые дома, стоя вдвоем буквой «П» правильной конфигурации, и эта туалетная будка обслуживала одним своим посадочным местом все поголовно народонаселение трех этих домов как мужского пола, так и женского. И невзирая на возрастные отличия. И была она, будка то есть туалетная, деревянная. Из досок. А вокруг везде двадцатый век на дворе — то есть стекло и бетон. Ну и кирпич тоже, конечно. И поэтому доски от будки, бывало, отрывали. Когда драка какая-нибудь молодежная случалась или, чтоб костер сложить для развешения души и тела, допустим, на снегу под Новый год. И кончилось все это тем, что будка осталась без дверей как таковых вообще. И как хочешь — так ею и пользуйся. Ремонтировать же будку никто не обязан. У жэка досок не предусматривается планом капремонта и сметой для развешения души и тела населения — ну вот, выходит, и все. А Финогенов, он какой путь из положения изыскал и предложил на суд заинтересованных соседских жильцов — он говорит: а давайте мы прибьем к будке рейку подлиннее под названием флагшток и к ней флаг какой-либо поярче прицепим на веревке. Поднятый флаг — значит, занято, издалека видно, и нечего туда свой нос совать, а спущен флаг — пожалуйста, свободно, и можно посещать всем желающим и нуждающимся, милости просим, и все соседи эту простую идею одобрили и поддержали, сказали, ну, ты, дед, башка с ушами, юморист, и, не отходя, отодрали одну слабую доску от будки, и прибили ее гвоздями как возможно выше, и флаг к ней в соответствии с предложением Финогенова приспособили — тот, который по праздникам на доме вывешивали, и пользуются этой будкой с праздничной символикой и по сей сегодняшний день.

Ну, да все это — отсутствие достойного туалета подразумевается в виду — не самое основное в том, что Финогенов плохо жил. Хотя и это одна из характерного вида черт его жизни. А самое основное, конечно, и главное — это то, что жил он, Финогенов, одиноком холостяком, и никто за него замуж не выходил. Как развелся он с первой женой по существенной причине ее бездетности (тридцать шесть лет тому назад это произошло), так и жил сам себе в указанном старом доме на последнем, третьем, этаже, имея, между прочим, отдельную от всех квартиру, которая отошла ему при разводе, так как он в ней был рожден и жил с тех пор коренным жителем. А в квартире, кроме его самого, жило еще очень большое число тараканов и мышей, правда, они в основной массе в пределах кухни находились, а не в комнате, и Финогенов поэтому за электросвет крупные суммы выплачивал ежемесячно. Он свет в кухне на ночь постоянно не выключал — чтоб они не выползали из своих нор и щелей. Они же — тараканы в частности и мыши — они яркого света биологически не переносят и панически избегают. А лампочка в кухне у Финогенова сто свечей вкручена, потому что, если меньше вкрутить, то не поможет ни черта. Конечно же, она, лампочка эта мощная, наматывала избыточные неоправданные киловатты.

Но тушить ее все равно никаким образом нельзя было себе позволить. Из-за того, что тогда под слоем тараканов ни пола видно не было бы, ни клеенки на столе, ничего — столько, значит, их наплодилось и размножилось за долгие дни и годы жизни. Ну, и жил, значит вот, Финогенов в этом доме, состоя на полном пенсионном обеспечении по старости, и жизнь его текла приблизительно в следующем русле. Просыпался Финогенов часа в четыре утра от наступления бессонницы и часов до полседьмого лежал на спине и смотрел раскрытыми глазами в серый, с дождевыми затеками потолок своего жилья. И прислушивался к шуршанию и писку, который доходил до его ушей через дверь. Это значит, мыши и тараканы в кухне боялись ходить из-за яркости света лампы, а по коридору все ж таки рысачили, гадали, отыскивая, что бы им употребить и сожрать. Потом, в семь часов, Финогенов из постели вызлезал и шел на кухню. Там, на кухне, он умывал лицо и руки под краном, нагревал чайник воды и толково пил чай, и завтракал тем, что у него содержалось в холодильнике — то ли колбасой, то ли же иногда просто хлебом с маслом, и чаем запивал горячим, чтоб облегчить прохождение в глубь пищеварительного тракта пережеванной пищи. А после окончания завтрака Финогенов ополаскивал чашку и нож кипяченой водой, складывал еду в холодильник, чтоб она была недостижима для тараканов и мышей, брал сумку из ткани «болонья», газету тоже брал старую, и спускался во двор, в туалет, а из туалета уже прямоком на остановку троллейбуса шестидесятого маршрута. А выходил он из троллейбуса через одну — возле универсама №8, который как раз и открывался ровно в восемь часов утра. А в универсаме Финогенов не кидался к полкам, а спокойными шагами подходил к женщине Зине на входе, получал у нее во временное распоряжение трехколесную тележку и ехал с этой тележкой в торговый зал. И там, в зале, ожидал нужного часа. Ожидал он обыкновенно, находясь в непосредственной близи от выезда из служебного, развесочно-фасовочного помещения, потому что из этого именно помещения и выкатывали контейнеры с пищевыми продуктами питания в течение всего рабочего дня без перерыва на обед. И Финогенов, когда контейнер из служебного помещения показывался, в числе других таких же людей бросался на него всем корпусом тела и хватал — что там было положено, и обратно вытискивался, и там уже, на воле, разглядывал внимательно ухваченное. И если оно ему было не надо или, может, дорого стоило, то он, Финогенов, значит, возвращал это на свое прежнее место в контейнер, сразу после того, как контейнер становился опустевшим до дна, и народ от него расходился. А те покупатели, кому с первого раза не досталось ничего схватить, увидев произведенный возврат, подбегали и ухватывали это, возвращенное Финоговым или кем-то еще — неважно. И таким испытанным способом — раз несколько. Скупится Финогенов, перепроверит общую цену продуктов в тележке и становится в очередь к одной из касс, которых в универсаме №8 насчитывалось целых семнадцать штук. Правда, столько их, касс,

в одно время вместе никогда еще не работали, но штук по пять-шесть участвовали в работе часто и густо. Ну, и становился пенсионер Финогенов в очередь для того, чтоб рассчитаться за купленные товары, рассчитывался, перекладывал все из тележки в свою сумку на столике, специально для этого и предназначенном по замыслу администрации универсама, затем он отдавал тележку и уходил домой. А дома Финогенов, само собой, обедал, потом ходил во двор гулять, а когда нагуливался достаточно для здоровья, он возвращался опять домой, где ужинал. А перед отходом ко сну Финогенов посещал туалет под флагом, смотрел передачи первой программы центрального телевидения и ложился до завтрашнего утра спать. А завтра — опять приблизительно в том же самом духе и таким же манером с малозначащими отклонениями от сути жизненного процесса. Ну и послезавтра — так же, и в последующие дни — тоже. Конечно, плохо он жил, Финогенов. Хотя он и обвыкся со всем на свете и даже считал, что живет он не плохо, а нормально, потому что имеет, для примера, возможность в силу своего пенсионного положения в обществе ездить в универсам по утрам — когда практически весь трудоспособный народ занят на своих рабочих и служебных местах. Вот так вот, по накатанной дороге, и жил старик-пенсионер Финогенов довольно длительное время подряд. А тут сравнительно не очень давно попершился он чего-то в универсам не с утра, а часов туда, наверно, в пять, Нарушил, выходит, привычную цепь событий. Ну и попал в неприятную ситуацию: там, в универсаме, тетка какая-то, пожилых тоже лет от роду, беззастенчиво раздобоширилась и стала позволять себе лишнее. Обыкновенная, главное дело, на вид тетка. В коричневой шубе и в шапке такого же похожего типа. А дебоширить она начала прямо посреди очереди к третьей кассе. Почему эта хулиганствующая тетка остановила свой выбор именно на этой очереди, к именно этому кассовому аппарату, понятно, неизвестно. Может, ей примерещилось, что эта длина очереди короче остальных или быстрее продвигается вперед к цели, да, а раздобоширилась тетка из-за того, что по ее представлениям и понятиям Финогенов лез без строгого соблюдения установленной очередности. И она стала обзывать его алканом и приезжим и из очереди выпихивать вбок совместно с груженной тележкой. Так вот, она нападала на Финогенова и продолжала его выпихивать на протяжении всей длины очереди, а он, Финогенов, не давался голыми руками и занятых позиций врагу не сдавал. И к кассе, таким образом действий, приблизился первым и рассчитался с кассиром-контролером. И хотел он уже приступить вплотную к перекладке произведенных покупок из тележки в собственную, принадлежащую ему сумку, как эта злобная, озверевшая тетка до последнего предела потеряла человеческий облик и вцепилась ему в пальто, и с криком и воем начала на нем висеть и тащить, волоча зад и ноги в его, Финогенова, направлении движения, что было, конечно, очень смешно и противно, если наблюдать за этим ЧП со стороны. И Финогенов не вынес всего позора сложившейся обстановки. Он бросил свои

кровные покупки на пол, под ноги движущейся толпе народа, а тетку швырнул на стол — тот, что служил для перекаладывания продуктов, швырнул он ее грудью на этот стол, заломал руку за спину и предъявил требования к общественности, чтоб она вызвала ему на помощь представителей органов защиты правопорядка. А общественности, что характерно, до его требований ни малейшего личного дела нету. Она проходит мимо, приобретает пищевые продукты и уходит. А Финогенов с этой теткой так и остаются в мучительных заскорузлых позах, отталкивающих своим вопиюще некрасивым уродством. То есть значит, если с детальными подробностями говорить, то происходит следующее действие: универсам работает в своем регулярном ритме, люди покупают имеющиеся в продаже покупки, строятся в очередь к кассам, пробивают чеки, запаковываются и покидают магазин сквозь вращающийся по ходу часовой стрелки турникет. А покупатель Финогенов удерживает на болевом приеме самбо руку заразы-тетки, уперев ее, как бы это сказать, мордой в стол. Шапка с тетки, само собой разумеется, спала в лужу фруктового кефира, волосы на прическе растрепались и слиплись, а сама тетка лежит красная, претерпевает боль в плечевом суставе руки и в груди, но не капитулирует безоговорочно, а только кряхтит и капризничает. Финогенов на этом фоне призывает милицию, а милиции как раз под рукой и не оказывается кстати. И так весь этот пейзаж застывает и в статическом смысле успокаивается. Ну разве что в редком случае поглядит кто-либо на Финогенова и нарушит успокоение, говоря, посодют тебя, дед, за оскорбление женского достоинства личности и рукоприкладство в общественном месте, но положительной реакции по существу происходящего вопроса никакой не следует. И, в общем, конец был такого содержания и формы: держал Финогенов эту тетку мордой в столе до того самого момента, пока технический работник магазина — уборщица — не подошла к ним с мокрой тряпкой, не замахнулась ею и не сказала, расставляя все точки над и по своим местам. Закрывается, сказала, и освободите проход и помещение к свиньям. И Финогенов отпустил эту тетку на свободу с радостью, потому что сильно устал ее держать. Он даже ей оказал моральную помощь в приведении себя в надлежащий женский порядок и вид. И шапку ей сам подобрал и отряхнул от кефира о свое колено. И они — Финогенов и тетка — один за другим вышли на улицу имени пламенного революционера Косиора, и пошли к троллейбусу шестидесятого маршрута следования, и ехали вместе. Только Финогенов через одну из троллейбуса вышел, потому что доехал, а тетка осталась и дальше поехала.

А завтра Финогенов снова по какой-то своей необъяснимой причине потащился в универсам под закрытие и опять эту тетку там повстречал, и подошел к ней, и говорит, значит:

— Здравсьте.

— Да уж и здравсьте, — тетка ему отвечает сосредоточенно.

А Финогенов говорит:

— Вы, — говорит, — кефиру взяли фруктового? Сегодня есть. Очень, — говорит, — ценный и питательный продукт питания для нашего пожилого возраста.

А тетка говорит:

— Не, — говорит, — я ряженку всему без исключения предпочитаю, а если ее нету, я тогда совсем ничего не беру из молочнокислого.

А Финогенов говорит:

— Нет, ряженка — это совершенное не то. Фруктовый кефир несравненно полезнее на ночь принимать в пищу.

— Вот и пей свой кефир, — тетка ему рекомендует, — а я ряженку как предпочитала, так и буду предпочитать в дальнейшем и впредь.

И, это, поспорили они так мирно и опять вместе, как и вчера, к троллейбусу пошли друг с другом и опять ехали в одном и том же троллейбусе и все на темы полезности различных молочнокислых товаров, выпускаемых местной пищевой индустрией, беседовали. И Финогенов пропустил свою остановку и вышел вместе с теткой на следующей, и проводил ее до самого дома, где она занимала комнату в молодежно-холостяцком общежитии — ее еще тогда, когда она не была пенсионеркой, а работала на бумфабрике, этим жильем обеспечили. Там, в общежитии, все по несколько человек в комнате жили, а она с учетом ее заслуженного возраста и трудовых достижений в прошлом — сама. Как барыня.

Ну вот и, одним словом, поменял Финогенов график своей предыдущей жизнедеятельности и каждый день стал в универсаме вместо утра вечером объявляться и тетку эту, которая Валентиной Евгеньевной оказалась по имени-отчеству, стал до дому провожать. А потом он к себе ее пригласил официально. Вина закупил в специализированном, комнату прибрал, стол составил праздничного подобию, а Валентина Евгеньевна приоделась тоже по праздничному образцу и пришла к нему в назначенный день и время суток, и они сидели и ужинали, и разговаривали между собой. И Финогенов даже уговорил и убедил ее, Валентину Евгеньевну, попробовать фруктовый кефир на вкус, и она ему уступила и справедливо призналась, что да, это тоже можно принимать в пищу в случае, если ряженки не имеется в продаже. А после Финогенов взял и объявил ей, что просит, дескать это, у нее руки и сердца, вот. И Валентина Евгеньевна дала ответ, что она обязана серьезно подумать и, наверно, после этого согласится, тем более что он, Финогенов, вызывает в ней взаимную симпатию и обладает условиями для совместной жизни, а отсутствие у него элементарных бытовых удобств и благ ее не страшит. Ну, и стала Валентина Евгеньевна домой к себе собираться, а Финогенов сказал, что, конечно, пойдет ее провожать. Ну, и вышли они из комнаты в коридор. А свет-то Финогенов в кухне забыл включить вовремя из-за визита, нанесенного ему Валентиной Евгеньевной — замотался, и, конечно, в темноте без света все тараканы и мыши повылазили и стали по кухне и по коридору свободно разгуливать. И как увидела их Ва-

лентина Евгеньевна в полном объеме, когда Финогенов выключатель включил, так и взяла свои слова обратно назад.

— Нет,— говорит,— нету у меня согласия на брак, потому что я брезгую среди такого антисанитарного ужаса жить.

И выбежала она, раздавливая зажавшихся тараканов подошвами зимних сапог, и побежала вниз бегом, не беря во внимание свой преклонный пожилой возраст, и больше ее Финогенов не встречал нигде— ни в универсаме, ни в троллейбусе шестидесятого маршрута, ни около общежития, где она имела постоянное место проживания. Как будто бы она, Валентина Евгеньевна в смысле, пропала без вести, или ушла из жизни, или же совсем под землю провалилась.

Ну, а Финогенов, он — что? Он поразыскивал ее вокруг да около без реального конечного результата некоторый срок времени, в общежитие — внутрь — не пошел, так как постеснялся, и стал снова в универсам с утра ездить отовариваться, потому что намного выгоднее ему было с утра туда ездить. И в несколько раз привычней.

ДОМ

Сеня построил дом. Десять на двенадцать — как положено. Сам построил. Своими руками. Пять комнат, ванную, кухню, туалет, веранду. Все сам. Из кирпича б/у. Старого то есть. У него на заводе цех ломали, который в тридцать третьем году пущен был в эксплуатацию, из этого кирпича он свой новый дом и построил. Каждый кирпич от раствора отскреб и на свое место уложил. И строился не очень долго. Семь лет всего. Конечно, из старого кирпича строить дольше и хуже. Зато нового не достанешь и дорого. А б/у — он, считай, дешевле привозки обошелся. А что семь лет Сеня строился, так он бы и быстрее мог. Если б строителей нанять. Но он же сам строил, один. Все своими руками. Да он и сам бы мог быстрее построиться, так Галка рожать начала. За три последних года два раза рожала. То жили, жили — и ничего, а тут два раза. Кесарево сечение оба раза делали и оба раза удачно. Теперь есть кому дом оставить. Против детей они с Галкой никогда ничего не имели. Просто болела Галка после Вологодской области. Они когда поженились, в Вологодскую область ездили, по вербовке на лесоповал. Чтоб денег заработать на дом. Там она и стала болеть. Почками и зубом. Две операции уже делали — камни вырезали из почек и зуб тоже вырезали. Но денег они зарабатывали. И дом купили. Не этот, а первый. Он тут же и стоял. Маленькая такая развалюха. За шесть тысяч всего купили. Сеня ее лет пять потихоньку достраивал — в отпуске, по выходным, после работы. Фундамент новый под стены подвел, комнату пристроил, крышу поменял. Высокая крыша получилась, крутая. На чердаке — хоть конем гуляй. Летнюю кухню тоже выстроил. Она и сейчас стоит вот. А дома того нет. Дом сосед спалил. Напился до поросычьего визгу и спалил. Сеня

только строиться кончил и на неделю с Галкой в Евпаторию уехал. У него тетка там. Хотел раз в жизни отдохнуть. Ну, они поехали, а сосед на третий день дом и спалил. Так что они всего день на море побыли — и назад. Сосед, правда, повесился к их приезду. Снова, значит, нажрался, поналивал во все колодцы мазута и повесился. Милиция приехала про пожар его спрашивать, а он висит. Они его увезли, экспертизу сделали и в институт сактировали, чтоб студенты на нем обучались, потому что все равно его никто хоронить не хотел. А дом сторел. Собачья будка — и та сгорела. Все, короче, сгорело. Одна летняя кухня осталась.

Ну, Сеня посмотрел на угли и новый дом начал строить. А жить пошел к брату по отцу квартирантом. Там, у брата, полуподвал есть. Сыроватый, но жить можно. Жалко, вещи в нем влажные делаются и плесенью пахнут. Когда дом горел, вещи успели вытащить. И холодильник вынесли. И шкаф. Телевизор не успели, а это все вынесли. Оно в полуподвале больше б и не влезло ничего, а так еще и кровать стала. Сеня с Галкой в этом полуподвале уже жили когда-то. До Вологодской области. Брат не возражал. Двадцать рублей в месяц платили — и жили. Вообще-то в этом доме, который теперь брата, Сеня и родился. А когда мать под поезд попала — ему четырех лет не было, — отец заново женился и к жене ушел жить, а он, Сеня, с бабушкой в этом доме остался и еще двадцать пять лет с ней прожил. Школу закончил вечернюю отличником, институт. Потом поехал в командировку на месяц, а приехал — бабушку хоронят. Дом отцу по наследству перешел как бабушкиному сыну, а он, отец, его своему сыну, но не Сене, а другому, от второго брака, подарил. И Сеня квартирантом стал жить в полуподвале. Сам жил, потом с Галкой, а потом они на три года лес поехали валить по вербовке. В Вологодскую область. А когда дом сторел, они снова в полуподвал к брату перебрались. Четыре зимы перезимовали, потом дети родились, первый Антон, второй Даниил. Один Сенин знакомый говорит: «Дети подземелья».

Когда дом у Сени сторел, ему советовали в очередь на квартиру стать. Как погорельцу ему бы дали в течение трех лет. Но Сеня — ни в какую. Страховку получил — тысячу сто двадцать рублей — и новый дом строить начал. Еще на работе ему помогли. Он и не просил, а ему помогли. Двести рублей материальной помощи выписали и кирпич б/у разрешили купить, когда старый цех ломали. А тогда не то, что сейчас, тогда с нетрудовыми доходами борьба шла и этого по закону не положено было. А ему разрешение дали, официально. Сеня кирпич завез, цемент достал и начал. Семь лет строился. Если б денег чуть больше иметь, можно было б и за три построить. Заплатить строителям — и все. Но у Сени зарплата с премией, если она есть, двести десять грязными и Галкиных восемьдесят. Она в больнице на раздаче работает. Еду больным раздает в эндокринном отделении, а когда болеет, ее там же, на работе, лечат. В больницу не кладут, а так. Она работает, а ее лечат. И им хорошо, и ей. Платят, правда, восемьдесят рублей. Но она кое-что

с работы приносит. Больные ж не все в столовую ходят, многие домашним питаются, вот и остается. То яйца, то тефтели, то суп. Она это и приносит. Пожрать Сеня не дурак, кота с собакой тоже кормить надо. Таскать только Галке тяжело. Больная она все-таки, таскать много не может. Хотя жили они и без этого. В двух декретах Галка была — с голоду не померли, кур держали, огород тоже. А получи квартиру — даже если б ее тогда дали? Они с Галкой вдвоем были, значит, однокомнатную могли бы дать. Что в ней делать? А тут как раз двое детей. В полу-подвале с ними, конечно, плоховато было жить, особенно, когда их двое стало. Но с двумя они там, считай, и не жили. Года полтора, может. А потом Сеня дом построил... Первый, который сосед спалил, пять лет только достраивал, а этот за семь лет полностью построил. С погреба начал — и все сам. Если этот дом продавать, тысячу тридцать можно бы просить, а то и тридцать пять — место хорошее, до центра города электричкой семнадцать минут, железная дорога рядом, огород прямо под насыпью начинается. Конечно, кому-то может не понравиться, что поезда грохочут, но у Сени нервы крепкие, недаром он никогда на больничном не был. Да и Галка тоже жила тут — ничего. И дети привыкнули. Правда, недавно товарняк с путей сошел, шестнадцать задних вагонов. Несколько домов раскрошило, а Сенин не тронуло. Забор повалило и все. Комиссия установила, что полоса отчуждения не соответствует нормам. Еще повезло, что платформа недалеко и поезда тут скорость сбрасывают. А то было бы. Но теперь полосу отчуждения расширяют, чтоб соответствовала нормам и чтоб люди не пострадали, если еще авария случится. Всю улицу уже выселили и дома снесли. Один Сенин дом остался. Новый. Сеня говорит, что с ним вместе могут его дом сносить, пожалуйста, а без него — нет. Ему уже и свет отрезали, и газ, а он все живет и живет с Галкой и детьми в полосе отчуждения, живет и живет.

Никого вокруг больше нету. Только они.

ЛИШНЯЯ ДЕСЯТКА

Юлька Почалина работала в театре оперы и балета. Театр этот лет пятнадцать тому назад в Угорске построили на месте детского парка. Маленький такой парчок рос посреди города, дикий. Ни тебе аттракционов в нем не было предусмотрено, ни предприятий общественного питания, ни каких иных равнозначных учреждений по организации культурного отдыха детей и их родителей или тех лиц, с которыми они, то есть дети, этот парчок посещали в часы досуга. А состоял парк из простых деревьев, лавочек со спинками и без спинок, двух клумб с цветами, ну и качелей нескольких примитивно сделанных — без электропривода, карусели — тоже полностью немеханизированной и горки, с какой дети съезжали сидя и лежа — как придется. И из-за этого легко его было снести и разровнять, этот парк. Пеньки, от деревьев оставшиеся, труднова-

то, правда, выкорчевывать пришлось — бульдозерами и экскаваторами — потому что деревья в бывшем парке были старых времен, вековые, как говорится, и корни у них, конечно, разрослись толстые и на большую глубину достигли. А не выдергивать их, корни, нельзя было. Они прокладке подземных коммуникаций вредили, вот. И теперь, а именно пятнадцать лет назад, на месте того прошлого парка театр возвели по современному типовому проекту, разработанному одним всесторонне известным творческим коллективом архитекторов. Такие театры во многих крупных городах республики тогда построили, а в городах, которые помельче, в районных там и в прочих, в них по точно такому же проекту аналогичные дворцы культуры выстроили. Только соответственно уменьшенной общей площади. Но на внешний вид если смотреть — то один к одному. А у нас, на основании того, что наш Угорск — областной и административный центр, большой как по занимаемой территории, так и по количественному составу населения, конечно, не дворец культуры построили, а театр. Большой театр, вместительный, на восемьсот посадочных мест, чтоб он всю область, от края и до края, обслуживал и удовлетворил бы раз и навсегда растущие культурные потребности нашего народа-труженика, и чтоб самые разнообразные, на любой взыскательный вкус — и оперные, и балетные. И оперетные тоже заодно — чтобы не строить еще и отдельный театр оперетты. Короче выражаясь — чтоб удовлетворил все, какие только возможно представить, потребности в музыкальном смысле слова. Артистов со всей буквально страны тогда завезли — и простых, и заслуженных, и народных. Квартирами их привлекли, не очень далеко от центральной улицы города. Сам первый секретарь обкома выделил им эти квартиры улучшенной планировки из своего собственного личного фонда. И звания дополнительно к квартирам пробили через министерство сверх разрядки и помимо утвержденных ранее планов для заинтересования творческих сил посредством не одного материального, а и морального стимулирования. И вот в этом-то театре оперы и балета областного уровня Юлька Почалина работала уже законченных пять лет с хвостиком — в буфете буфетчицей. Раньше — Юльке рассказывали, — когда этот театр только вступил в строй действующих объектов соцкультбыта, в буфете и три буфетчицы не управлялись — столько то есть желающих тут посещало и приезжало в порядке экскурсии организованным путем из самых отдаленных уголков области на автобусах «ИКАРУС», «ЛАЗ» и так далее. А сейчас она в единственном числе с объемом работ справляется. И еще тетя Даша у нее в подчинении — стаканы помыть, посуду унести-принести и такие разные подсобные операции выполнить. А все остальное Юлька сама делает. И в антрактах всех успевает обслужить. Хотя на прошлой, кажется, «Хованщине», что ли, ну, в среду, одним словом, семнадцать человек в зале присутствовало. Но так совсем мало зрителей все-таки нечасто бывает, это уже из целого ряда вон выходящее событие в театральной жизни. Обыкновенно до ползала набирается на-

роду, а в школьные каникулы и на елки иногда даже и балкон отпирать бывают вынуждены, из-за невозможности всем внизу уместиться. В такие дни — это и есть самая работа у Юльки, в такие дни и тетя Даша в буфетчицы выдвигается и торгует с Юлькой на равных правах. А в рядовые дни работы в буфете — одно название. Двадцать минут антракта, если, конечно, он один — как сейчас модно, а если антракта два — тогда вдвое больше работы. И плюс к тому — подготовка. Товар принять, напиток заболтать из сока, по стаканам его разлить и на стойке сверху расставить (у нее напиток зрители сами берут, на самообслуживании, а деньги — по двадцать копеек — ей отдают без сдачи), пирожные разложить в удобные места — чтоб все под рукой были, бутерброды нарезать и приготовить к продаже. Юлька бутерброды сама нарезывает. Оно, можно, конечно, и готовые получать, но даром, что ли, она полгода воевала за то, чтоб колбаса ей не в нарезанном состоянии поступала, а в целом — через весы. Чтоб самой, значит, это делать — нарезывать, своими руками. Потому что, если уметь колбасу правильно нарезать и на хлебе распределить, то с тридцати копеек цены одной штуки бутерброда, десять копеек легко иметь можно. А можно и пятнадцать. А если еще к этому и колбасу подменить на нужную? Ну кто ее будет проверять, анализы делать — в десять она рублей или в шесть семьдесят? И кто знает, какой ей на театральном бутерброде по правилам советской торговли полагается быть? Сухая — и сухая. Купят, съедят, напитком сверху запьют — и привет съезду, снова пойдут оперой любоваться или же девок балетных в бинокли общупывать, а чего там общупывать — один Бог в курсе, кости острые и жилы, как у лошадей в цирке.

Вообще Юлька с кулинаруей, из которой буфет их, театальный, товар получает, долго борьбу вела. За бутерброды эти сначала. Они ей: «Бери готовые», — самим, значит, им нарезывать хотелось и химичить. А она: «Не возьму. Они, готовые, покуда к зрителю дойдут — засыхают до нецензурной черствости». Потом насчет пирожных тоже драка была не на жизнь. Они все пирожные ей подсовывали по двадцать две копейки ценой, в широком, правда, ассортименте — и заварные, и «корзиночки», и «трубочки», но все по двадцать две копейки. Постоянно. А Юлька с ними грызлась, чтоб давали не их, а маленькие, те, что по пятнадцать копеек цену имеют. Говорила:

— Их быстрее раскупают, потому что по две штуки многие зрители берут на человека. А два пирожных по пятнадцать стоят тридцать копеек, а одно по двадцать две, так и стоит — двадцать две. И мне, выходит, для плана по пятнадцать экономически выгоднее.

Длительный период времени Юлька боролась с бюрократкой-завкулинаруей, но выстояла на своем и добилась положительного конечного результата. Стали ее этими маленькими пирожными снабжать, пятнадцатикопеечного размера. Ну, а она их, конечно, по двадцать две продавала. Они ж, пирожные эти пресловутые, ничем не отличаются друг от друга. Те же самые «трубочки»-«корзиночки». По весу, правда, отли-

чить возможно, ну так их же не на вес продают, а на штуку. И никто ничего не возражал никогда. Редкие бывали случаи, спросит кто-нибудь сильно грамотный — чего это ради пирожные таких недопустимо мелких размеров, а она ответит: «А я их пеку или что?» — и на этом все прекращалось. Ведь народ же, когда в театре, ему ругаться и собачиться неохота и нервы себе травить. Он же культурно отдохнуть пришел, и ему неудобно перед друг другом. Не на базаре ж и не в гастрономе. А в театре. Прилично все, как один человек, одетые, и дамы тоже — женщины — рядом при сем присутствуют и в празднично приподнятом настроении духа. Не та, короч, обстановка, чтоб скандалить и справедливые требования выдвигать. Это ж даже не ресторан, а как-никак храм. Хотя и искусства. Тут люди обогащают свой внутренний и общеобразовательный уровень жизни, постигая, значит, на практике музыкальный язык межнационального общения и наслаждаясь богатством его звуковой палитры. А буфет в театре — это второстепенный объект, обладающий вспомогательным значением. И это именно и хорошо для Юльки Почапиной, буфетчицы. А еще что хорошо — начальство театральное в буфет не вмешивается своей властью — ну, разве вот в случаях, когда ему продовольственные продукты питания какие-нибудь остродефицитные нужны бывают. И общепитовские руководители — тоже Юлькин буфет все-речь не воспринимают и не учитывают в смысле деловых возможностей, у них в распоряжении поинтереснее точки есть. Тем более собрания торжественные и сессии областных масштабов из театра теперь перенесли. Теперь отдельный конференц-зал заседаний в городе существует типа как Дворец съездов. А когда проводились такого рода собрания и сессии в театре, то у Юльки и икра бывала в буфете, и балык, и зефир в шоколаде. А самое из этого ценное — пиво бывало чешское. И в банках также бывало, производства зарубежных пивзаводов Запада. Юлька эти банки после сыну своему относила, и он из них башни разномастные сооружал вавилонские, крепости, и в детсад таскал — цацки какие-нибудь на эти банки выменивать. Сейчас-то с этим хуже, конечно, стало, значительно. В связи с событиями. Но и сейчас бывают концерты некоторые для делегатов-депутатов, когда буфет особо уважительно снабжают. Правда, и буфетчиц добавляют специальных для устранения очереди и поддержания высокой культуры обслуживания на должном уровне. То есть Юлке от этих концертов практически ни холодно, ни кисло. Хоть буфет и по повышенной категории, а при чужих людях не разгонишься откровенно. В один присест обэхээсэсникам сдадут. А Юлке этого не надо ни зачем. И концертов этих не надо. У нее свой заработок, постоянный. Не шикарно какой, если по сравнению с многими общеизвестными предприятиями общепита, но пятнадцать — двадцать рублей она всегда за день заработать в состоянии. Пускай трешку тете Даше отдаст необходимо, пускай завкулинаруией — старой жабе — на именины и на Восьмое марта подарок надо купить, а все равно нормально. Потому что бывает же и по два спектакля в день — это по

субботам — воскресеньям и в каникулы, бывают и елки вышеупомянутые — по четыре штуки ежедневно, ну и выходит среднее арифметическое около двадцатки. И зарплата еще, и алименты от мужа бывшего кой-какие, вот оно все в общей сумме и нормально. Если не быть жадной. Но Юлька, она и не жадная женщина. Одеться, конечно, в согласии с требованиями мод у нее личная надобность заметное место имеет, кино посетить, ресторан — когда выходной или праздничный день, летом, конечно, в Гурзуф надо съездить — в море откиснуть, ну и ребенка обуть-одеть надо. А разные видики-музыки-книжки-украшения — это в ее потребности не попадает, этого она не признает ни в каком виде. И со жратвой проблем у Юльки, естественно понятно, нету и намека. И в квартиру все давно своевременно куплено, что надо для жизни — и мебель, и ковры, и хрусталь. Юлька так и говорит о себе людям: «Я, — говорит, — социально защищенная женщина. И в корне самостоятельная. Мне, — говорит, — главное — здоровье», — да. Вот таким вот, значит, макаром она и работала, Юлька Почалина. Полных пять лет уже с хвостиком и чувствовала себя всегда хорошо. А тут, значит, зовет Юльку администратор и говорит, чтоб она после спектакля дневного, детского, накрыла сидячие столы на тридцать четыре человека и каждому чтоб было накрыто пирожное, бутерброд и напиток из расчета — двадцать две, тридцать и двадцать. На семьдесят две копейки, значит, итого. А всего на двадцать четыре, сорок восемь получается.

А Юлька ему говорит:

— С какой это я тихой радости в неурочное время буду корячиться? У меня днем один антракт рабочий.

А администратор говорит:

— Накрой, накрой. Там делов на полчаса лишних, а потом сочтемся каким-нибудь доступным способом.

Ну, Юлька побурчала, повозмущалась, мол, знаю я эти полчаса и пошла к себе в буфет. Антракт обслужила и стала столы накрывать, и все никак в голову взять не могла, что это за фигуры странные могут пожаловать после дневного спектакля напиток пить. А у администратора она не поинтересовалась чего-то, не подумала. Он сказал ей накрыть, она и накрывает, ей не жалко. Да и лишняя десятка особого вреда ей не нанесет. А что повозмущалась — так это так, для полного порядка. Чтob начальство не воображало себе, будто бы на ней ездить позволено куда вздумается и когда всхочется.

И накрыла Юлька положенные столы как раз к финалу второго отделения музыкального спектакля «Малыш и Карлсон» по одноименной сказке. Накрыла, облокотилась локтями и грудью на стойку буфетную и ждет. Минут пять подождала, и шум в фойе начался, и публика на выход повалила. И уже почти вся ушла из помещения театра, а в буфет никто и носа не показывает. Юлька думает: «Ну ни фиги себе финты. Да я, — думает, — этому организатору плешивому... за такие шутки... да я...» Но не вышло у Юльки додумать до логического конца про то, что она

сотворит администратору. Из-за того, что в буфет к ней посетители входить начали. Юлька их увидела, и по коже у нее дрожь мелкая разбежалась во все стороны, и даже под прическу, которую ей парикмахерша знакомая за червонец сделала, — забежала. И тетя Даша челюсть оттопырила и на стул села. И сидит так. А в буфет дети в это время заходят. Или, если говорить правильнее, то не заходят. Ну, или не все заходят, а частично. А частично — на колясках различных въезжают. Сами или их сзади подталкивают женщины. А других дети подталкивают. Допустим, руки у кого болезнью незатронутые, а ноги — сухие и плохо совсем ходить в состоянии, но все же таки в состоянии. И они, эти дети, за спинки колясок держатся руками, а ноги следом переставляют — вот им и самим продвигаться легче и тем, кто только в коляске ездить может, от них помощь исходит реальная. А те, что сами идут, они в основном на костылях, на таких низеньких костыльках детских размеров. Но есть и с палочками — тоже с детскими. А одна девчонка совсем сама идет, легко так, вприпрыжку, без всего. Потому что ноги у нее крепкие, как у всех нормальных детей, которые полностью от рождения здоровые. И сама она вся крепкая и ровная. Только кистей на руках у нее не хватает, на обеих. Гладкие такие концы рук, а кистей с пальцами нету.

Ну вот вошла эта группа детей в буфет, или въехала, ну, в общем, пускай будет — вошла. Женщины, которые с ними, с детьми, были, воспитательницы, наверное, или няньки, часть стульев от столов поотодвигали и коляски к ним подкатали, а те дети, которые сами пришли, своими силами, они на стулья разместились — кто без постороннего вмешательства, а кому эти женщины физическую поддержку оказали. И девчонка, та, что без кистей на руках, села. А костыли и палки дети рядом с собой, на стулья оперев, примостили, чтоб потом, значит, не мучиться их брать. А одна из женщин сопровождающих к Юльке подошла и говорит:

— С нас, — говорит, — как нам подсчитали, двадцать четыре рубля и сорок восемь копеек. Вот, — говорит, — без сдачи, — и деньги Юльке на прилавок положила — бумажки отдельно, мелочь отдельно.

А Юлька стоит, глазами моргает и не говорит ничего. И не слышит. Тогда женщина отошла от нее к детям и с другими женщинами вместе помогать им стала — бутерброды кушать и пирожные, особенно тем, у кого с руками что-нибудь не так и кому без помощи принимать пищу затруднительно. А та девчонка, у которой кистей не было, она сама кушала. Как-то так бутерброд брала двумя руками — откусывала, потом стакан. Отпивала. И пирожное сама съела. И не запачкалась совсем. Только руки в креме были немного. Ей пирожное «корзиночка» досталось, а в нем же сверху крем масляный. Поэтому она и испачкала себе руки. А губы — нет. Но руки ей одна из этих женщин — из тех, что детей привели, — быстренько носовым платком обтерла, и она, девчонка,

по буфету гулять пошла. Пока остальные доедали. Ходит и рассматривает внимательно все, что на глаза попадается. Она и перед Юлькой остановилась, руки за спину завела и разглядывала ее с минуту. И перед тетей Дашей постояла с любознательностью.

И тут с Юлькой что-то ненатуральное произошло независимо от ее сознания и воли. Она заметушилась вся — всем своим обильным телом, туда кинулась, сюда, вынесла пачку салфеток неразрезанных и одной из воспитательниц ее сунула, так как на столах отсутствовали салфетки. Она никогда на детские представления салфеток на столы не выставляла. Потом она к себе за стойку вернулась, хотела колбасы нарезать десятирублевой, а ее не оказалось в буфете. Ни грамма. И она какую была, достала и резать ее взялась, и на хлеб класть не учитывая, и пирожные — все, что в холодильнике оставались, — на тарелки вываливать. И сок открыла, и по стаканам разлила. Стаканы мытые у нее на стойке стояли, целый поднос, она их и наполнила. Все, прямо соком натуральным наполнила, а не напитком, как обычно. А пока она это делала, дети доели все, что им было куплено, и допили. И стали из-за столов выбираться. Кто костюлы пристраивает перед тем, как вставать пробовать, кто откатывается, кого отвозят. Юлька поняла, что уходят они, захватила поднос с соком натуральным — и к ним. На стол его ближайший взгромоздила и за бутербродами мотнулась — и их тоже на этот стол поставила. И пирожные принесла на тарелках. Принесла и говорит:

— Пожалуйста, — говорит, — кушайте на здоровье.

Дети вроде бы приостановились и на своих воспитательниц — или кем они там им доводятся — смотрят со знаком вопроса. А та женщина, которая деньги Юльке платила, испугалась и говорит:

— Нет-нет, — говорит, — что вы! Нам на сегодняшнее мероприятие, кроме билетов и транспорта, двадцать пять рублей выделено, наличных денег. И превышать мы не имеем права.

И дети, когда ее ответ услышали и уяснили, снова задвигались, задержались и как-то быстро-быстро из буфета ушли. Входили и рассаживались долго, а ушли быстрее других здоровых. И все бутерброды с колбасой, Юлькой нарезанные, и пирожные разные в тарелках на столе остались лежать. И сок яблочный натуральный на столе остался, в стаканах налитый до самого верха. И тетя Даша осталась на стуле в углу, а возле прилавка — Юлька. И стоит это она возле прилавка в пустом буфете и думает: «Господи, — думает, — сколько я товара перевела и угробила из-за своей доброты проклятой — это ж прямо какой-то кошмар».

НОЛЬ ГРАДУСОВ

Кроме Тихона, у Тамары Борисовны Шашель не было никого. Как-то так у нее все сложилось. И в молодости никого не было и потом. То есть она была старой девой. А Тихон — это ее кот. Серый, тигровой

масти. А живот у него кремовый. И вот этот Тихон теперь от нее ушел. Или скорее он не от нее ушел, а случайно. Она дверь не захлопнула, потому что сразу на кухню прошла, сумку с продуктами поставить, а Тихон в щель шмыгнул. А тут еще лифт, как назло, не успел закрыться. Тихон туда забежал, а на первом этаже, видно, кнопку нажали на вызов. Тамара Борисовна вниз спустилась бегом, но Тихон уже пропал. А обратно же сам он прийти не может, он же не знает, что ему на одиннадцатый этаж нужно.

И осталась Тамара Борисовна без Тихона. И вообще без никого. Она и всегда-то без никого была, почему — неизвестно. Сказать, что уродина она или змея — так нет. Женщина как женщина. А до пятидесяти почти лет дожила без никого. Старой девой. Год назад вот Тихона купила себе на птичьем рынке за трешку, а он теперь взял и ушел. Замерзнет там, черт такой. Он же не привык к холоду. Тамара Борисовна гулять его выносила под пальто, чтоб одна голова торчала — и то он дрожал. Он и дома-то по утрам, если форточка открытой бывала, замерзал. И всегда в постель к ней лез — греться. Уткнется мокрым носом под мышку и урчит от удовольствия и тепла. Тамара Борисовна его гладит, а он спит и урчит. Конечно, она расстроилась, когда Тихон ушел. Во-первых, на улице ноль градусов и дождь со снегом, хотя и весна уже. А во-вторых, она же к нему привязалась, к Тихону. А он, подлец, ушел.

Ему-то что, он не помнит, как котенком болел. То глисты у него заводились откуда-то, то он со стола неудачно прыгнул и лапу себе повредил, а глисты, просто непонятно — где он их брал? С кошками ведь не общался, ел все вареное, сто раз мытое. Сколько Тамара Борисовна с ним возилась! Лечила, ухаживала. Надо только на Тихона посмотреть — какой он холеный и чистый и как шерсть на нем блестит. Теперь, наверное, он уже не такой. Измазался, наверное, весь, блох нахватался. И питается, небось, всякой дрянью по помойкам. А спит скорее всего в подвале. В нем, правда, крыс полно, но хоть не холодно. Тамара Борисовна ходила туда с фонарем — какие-то кошки там живут. Но Тихона как будто бы среди них нет. Не мог же он так одичать, что она его не узнала. Да и он бы должен был ее вспомнить. Год все-таки у нее жил. С самого детства. Нет, его там точно не было, в этом подвале. Может быть, в другом каком-нибудь. Здесь везде дома и во всех домах подвалы есть. И в любом из них Тихон может прятаться. Потому что в подвалах обычно тепло бывает. От труб. Не будет же он по улице бегать, когда там ноль градусов. Он же умный, Тихон. И холода боится. Вечно у нее под пальто дрожал. А еду он себе какую-нибудь найдет. Живут же как-то кошки бездомные. В крайнем случае мышей ловить научится.

Лишь бы по помойкам не лазал. Глистов подхватит — кто его будет лечить?

Тамара Борисовна, конечно, надеялась еще найти своего Тихона. Вряд ли он далеко ушел. Наверно, тут где-нибудь живет. Может, тоже ее ищет. Бабушки-пенсионерки говорили, что приходил к подъезду кот, на ее Тихона похожий. Но он это был или не он, они не знали. Если б Тамара Борисовна жила на первом этаже или на втором, например, Тихон бы по запаху свою квартиру нашел. И главное, когда квартиру получала, жеребьевку устраивали, чтоб по справедливости, а первый этаж можно было так выбрать, любую квартиру. Но она не захотела на первом этаже жить, думала — одна все же, а тут первый этаж. Страшно-ва-то. И не взяла. Одиннадцатый по жребию вытащила и с самой лучшей планировкой. Кухня — девять метров, комната — восемнадцать. Радовалась тогда, что повезло, потому что в доме и пятиметровые кухни были, и окна — на трассу. А в ее квартире — во двор. Знала бы, что Тихон у нее будет и уйдет, конечно, согласилась бы на первый этаж. Брать-то у нее, если подумать, нечего. И сама она тоже... Кому нужна? И раньше не нужна была, а теперь и говорить глупо об этом. Теперь даже сослуживцы косятся. Говорят, вполне без нее обойтись можно. Уже и сократить пробовали. Спасло только то, что тридцать лет она на одном месте работает. Из техникума в девятнадцать пришла в лабораторию и до сих пор работает. И всех всегда устраивала. Хотя они, сослуживцы, правы. Как Тихон ушел, ей не до работы стало. Думает о нем все время. А работа ее внимания требует. Она же у микроскопа целый день. Ну, и ошибается, само собой, раз о другом думает. Да если б только на работе. Она и в выходные, и по вечерам Тихона ждет. Вроде понимает, что не может он прийти, а ждет.

По подвалам, правда, ходить Тамара Борисовна перестала. Потому что все равно не найдешь его там — разбегаются кошки, когда человек в их подвал лезет — и потому еще, что нарвалась недавно. Еле целая осталась. В какой-то очередной раз полезла она в подвал, который через пять домов от ее дома, спустилась, а там, в подвале, свет горит, штанги, гири стоят, маты постелены — для борьбы, наверное, а на матах мальчики и девочки молоденькие совсем лежат, ну и все вместе... А в углу двое в шашки играют. Девчонка между ними раздетая, а они на животе у нее играют. Увидели Тамару Борисовну, шашки сбросили девчонке этой на живот и встали.

— Чего тебе, бабка? — один из них спрашивает.

Тамара Борисовна говорит:

— Ничего. Я Тихона своего ищу.

— Вали остюда, — этот мальчик говорит. — Нет здесь никакого Тихона. А не то мы тебя сейчас тоже тут положим, — и смеются. И громче всех девочка та, на которой они играли, заливается.

Тамара Борисовна к выходу попятилась, а этот, что выгонял ее, пошел к одной паре на матах, пнул их носком ботинка и говорит: — Я сколько повторять буду, что в двери замок стоит? И закрывать его должны последние.

Он еще попинал ногами эту пару, но они на него и внимания не обратили. И другие тоже не обратили. А Тамара Борисовна спиной, спиной — и за дверь. И опять замок открытым остался.

После этого случая Тамара Борисовна сказала:

— Все. Хватит. В воскресенье иду на рынок и покупаю себе нового Тихона.

Только сказала, Тихон и объявился. Сидел возле дома и ждал ее с работы. Грязный, конечно, тощий, но — он. И с ним кошка какая-то незнакомая рядом сидела. Тоже грязная и худая. Тамара Борисовна схватила Тихона на руки и чуть не целует. А Тихон мяучит и вырывается. Она его держит, а он царапается. Потом извернулся и выскользнул из рук. Но не убежал, а в подъезд пошел. И кошка за ним пошла. И Тамара Борисовна. В лифт вошли, поднялись, Тамара Борисовна дверь отперла, пальто сбросила — и к холодильнику. А Тихон с кошкой сидят в прихожей, ждут. Вынула она колбасу, рыбу, хлеб маслом намазала, молока в тарелку налила. И отошла. Тихон кошке кивнул, и они вместе на еду набросились. Едят, ворчат, друг друга отталкивают. Поели и еще просят. Тамара Борисовна остаток колбасы им скормила, а потом консервов открыла банку. Сlopали они это все, молоко допили, и Тихон о ее ногу потерялся, спасибо, значит, сказал. А подруга его, кошка, умылась, подошла к входной двери и просится, чтоб ее выпустили. Тамара Борисовна дверь отворила, кошка вильнула хвостом и выбежала. А Тихон — за ней. Тамаре Борисовне дверь бы надо было сразу захлопнуть, а она не сообразила. На площадку высочила, а они — по лестнице вниз. Тамара Борисовна лифт вызвала, съехала в нем — какое там! Ни Тихона, ни кошки. Одни бабушки-пенсионерки у подъезда гуляют и возмущаются:

— Развели, — говорят, — котов, прямо жизни от них никакой нет.

Постояла Тамара Борисовна немного на тротуаре и домой вернулась. Она же без пальто высочила, а на улице холодно. Ноль градусов всего, хоть и весна.

БАТАЛЬНАЯ ПАСТОРАЛЬ

Танаев с женой лежали в своем уютном двухспальном окопчике на плащ-палатке, выращенной в нежный защитный цвет хаки, и под монотонное бормотание телевизора составляли любовный акт. То есть они любили друг друга — типа того, как Ромео и Джульетта Шекспира. Рядом с ними крепко и безмятежно спали дети от их гражданского брака, а где-то невдалеке, в районе высоты 121 «Безымянная», мирно строчил

пулемет. По звуку судя — пулемет врага, или, как говорят тактики и стратеги, супостата. Строчил весело и противно. И еще — надоедливо.

— Взял бы ты его, что ли, гранатой, — говорила в перерывах между любовью жена Танаева и мать его детей Маша. — Мужик ты в конце концов или не мужик?

А Танаев ей отвечал:

— Я — мужик. Но не сегодня, так завтра танки могут пойти, а я гранату на тархателку срасходую. А плюс к тому детей наших малолетних будить неохота. Ты ж сама гранату мою у их в головах приспособила в качестве подушки.

И они опять начинали любить друг друга до гроба под музыку телевизора и вражеского пулемета. Или, вернее, они не начинали, а продолжали в том же духе. И говорили, когда продолжать кончали:

— Эх, хорошо жить! — так говорила Маша.

— Хорошо, — говорил Танаев. — Только беспокоит меня, — говорил, — что с воздуха я неприкрытый все время постоянно. В смысле, со спины. Если это, на бреющем, припустим, зайти, то цель очень даже просто поразить возможно. Хотя она и движущаяся в достаточной степени, а — белая. Что сильно ее демаскирует в глазах предполагаемого противника на общем фоне окружающего чернозема.

— На черноземе пшеница обильно родит, — говорила на это Маша.

— Пшеница — обильно, — соглашался с женой Машей Танаев. — Но и рожь тоже — обильно.

И они снова друг дружку любили, как никто другой. А в телевизоре шло «Время». А пулемет перешибал звук диктора и не позволял им прослушать прогноз на завтрашний день. А в природе всякое может произойти или случиться. Вплоть до снега с дождем и града с куриное яйцо, невзирая на неурочное время года и место действия. И какая может быть большая любовь под градом? Одно неудобство — крыши-то над окопом устав строевой службы не предусматривает. И Маша, жена Танаева, почувствовала и ощутила реальную угрозу для своей вечной любви. И сказала Танаеву твердо, что, так как любовь их находится в опасности, надо ему на правах главы семьи — ячейки общества чего-то срочно делать и принимать меры. Не ради нее, конечно, а ради детей и внуков.

— Ты, — сказала, — если нас не жалеешь, так хоть Родину нашу многотрадальную пожалей. Или она зазря тебе гранату доверила и вручила?

И сердце Танаева вздрогнуло и не выдержало, когда про Родину заговорила Маша, верная его жена и подруга. И встал он тогда с нее в полный рост, и привел в боевой порядок форму одежды, и достал из-под детских головок последнюю свою гранату, и кинул ее с размаху в направлении звука пулемета, который настырно продолжал доносить-

ся со стороны высоты 121 «Безымянная», и замолчал пулемет, захлебнулся.

И настала везде тишина. Правда, дети Танаева нарушали ее громким бессмысленным плачем, потому что они проснулись и испугались, когда папа Танаев гранату из-под них доставал. Но и они постепенно затихли, а телевизор вышел из строя от страшного взрыва гранаты, кинутый Танаевым без какого-либо промаха и поразившей цель прямым попаданием в нее. И ночь, наступившая вскорости после попадания, прошла в тиши и спокойствии и в страстной любви Танаева к жене своей Марье Сергевне.

А наутро, как только все население окопов бодро проснулось отдохнувшее от ночного сна, пришел к ним в гости по ходу сообщения гвардии старшина Колыванов — сосед Танаева справа. Пришел, закурил грустно «козью ножку» и сказал сквозь махорочный дым из ноздрей:

— Вот же, — сказал, — гадство.

А Танаев зевнул по-утреннему просторно и радостно, обнял жену свою Машу за левое ее плечо и спрашивает:

— Где ж гадство, когда красотища кругом нас и восход солнца?

А Колыванов говорит:

— А гадство находится в закреплённом за мной секторе обстрела. Там, — говорит, — на высоте 121 «Безымянная» пара аистов, понимаешь ты, проживала. Гнездилась она там, значит, ну, а какая-то падла ржавая — гранатой их. Обоих. А у них любовная пора была как раз в самом соку и в разгаре. Клювами выстукивали до того красиво в гроба мать — ну что твой тебе пулемет. И танцы свои танцевали, аистовые. То же красиво.

Сказал это гвардии старшина Колыванов, вылез из танаевского окопа и пошел себе по полю брани. И голову даже не пригнул. А оно, поле это, простреливалось огневыми средствами супостата как поперек, так и вдоль.

И засвистели пули, и загрохотали разрывы. Но шел гвардии старшина Колыванов по полю, и ничего его не брало. А Танаев с любимой своей женой Машей и малые их детки смотрели на него из-за бруствера и чувствовали себя в безопасности.

ТЕТРАДКА

Когда Валька от свекрови в новую, свою, квартиру переезжала, она так ей сказала на прощание:

— На порог не пущу, — сказала, — и не пытайтесь. Вы ж меня знаете.

И Дарья Васильевна цель себе в жизни определила — прожить еще не менее десяти лет. Ну или хоть, на худой конец, девять. Для того,

чтоб внуки смогли вырасти и стали бы способны понимать. И тогда она им расскажет, какая у них есть мать на самом деле, правдиво. А было ей, Дарье Васильевне, в то время уже шестьдесят пять лет, и общее состояние имела она изношенное до мозга костей, а сын любимый ее — единственный и поздний ребенок — был лопух. На развод с Валькой подать у него, правда, хватило мужского чувства и достоинства, а в квартиру, в новую, он не поехал. Им ее, квартиру эту, обоим дали, потому что они вместе в одном производственном объединении трудились, начиная с молодых специалистов по окончании вуза технического профиля, а он ей, то есть Вальке, квартиру целиком и полностью уступил, без боя, после чего с работы рассчитался. Наверно, чтобы в дальнейшем не позорить свое честное имя, ведь же все объединение про Вальку говорило, что гуляет она напрапалу, и с кем гуляет, знало. И Дарья Васильевна все это знала, так как и она тоже пол трудовой жизни этому объединению отдала без остатка, окончательно уйдя на пенсию только четыре года назад, и у нее там много знакомых все еще сохранилось, и они все факты, касающиеся Вальки, освещали ей в наилучшем виде. А сын, значит, развелся с Валькой, у матери пожил некоторое незначительное время, пока не довела она его своими ежедневными лекциями на тему о семье и браке до нервного состояния, и поступил на работу, где, как правило, надо было в командировках находиться. И по два, значит, месяца торчал где-то, у черта на рогах, не показываясь, а когда приезжал, то жил в общежитии, которое при поступлении на эту непривлекательную работу себе выторговал. Он им сказал:

— Пойду к вам работать при условии общежития.

И ему предоставили требуемое общежитие, невзирая на местную прописку, потому что деваться им было некуда — никто на такую работу, связанную с длительными командировками, не рвался и идти не хотел. А впоследствии он это место работы переменил, после счастливой женитьбы на женщине из сферы торговли, обеспеченной и условиями для совместного проживания, и всеми другими благами. И она его на какую-то другую, хорошую, работу устроила, использовав свои связи и деловые знакомства. А когда сын в общежитии жил, Дарья Васильевна, как любящая мать, говорила ему, что живи у меня, места ж достаточно и даже слишком, а он — нет. Не слушал ее. Потому что сильно умным себя считал и грамотным. А она ему сразу сказала, еще когда он Вальку свою знакомиться привел с ней и с супругом ее Петром Ульяновичем, ныне покойным, что не пара она для тебя. Во-первых, потому что приезжая и хочет в городе остаться и закрепиться, аж пищит, а второе, потому что чрезмерно она на морду красивая и, значит, будет гулять, как последняя жучка, не удержится. А сын ей никак не возразил и женился на Вальке вопреки воле и пожеланиям родителей, и привел ее к ним жить, будучи тоже в квартире прописанным и имея на свою часть площади законное

право. И она, Валька, попервам тихо себя повела и почтительно. И Дарью Васильевну признавала как старшую по званию и хозяйку в доме, и переделает, если что-нибудь не по ней, и сготовит на обе семьи, и подаст, и приберет. И двоих детей родила одного за одним подряд — как из пушки. Могла и третьего родить, но тут Дарья Васильевна воспротивилась железной рукой. Сказала:

— Делай, что все женщины в таком положении делают, так как некуда третьего ребенка рожать, и так теснота. И на какие это денежные средства, — сказала, — вы трех детей содержать предполагаете?

И Валька и в этом глубоко личном вопросе пошла ей навстречу и не стала третьего ребенка рожать, а потом и еще двух последующих не стала. И Дарья Васильевна уже подумывала, что, может, и ошиблась она в оценке Вальки и ее качеств, но Валька, конечно в конце концов себя проявила и показала свое истинное лицо крупным планом. Это уже было после того, как года три или больше она у них прожила. Петр Ульянович, супруг, значит, Дарьи Васильевны, пришел как-то один раз с работы выпивший, как всегда. Он начальником сбыта на заводе работал, где трубы всякие делали, ну и, конечно, поили его постоянно и угощали со всех сторон в знак уважения — чтоб только он эти трубы отпустил по назначению, потому что это ж везде страшный дефицит. И он каждый день домой выпивши приходил. И придет это, сядет за стол и говорит:

— Ужинать.

И не жене говорит, а Вальке. Приятно ему было в пьяном виде, чтоб она за ним поухаживала и должное внимание оказала. А Валька обычно про себя ругнется, оставит с детьми крутиться и даст ему еду. Ей не тяжело это было. А тут, значит, младший ребенок у нее затемпературил с утра и лежит в кроватке, болеет, а он, Петр Ульянович, пришел и свое:

— Ужинать.

А Валька — ни фига. Не реагирует ни каким способом, сидит возле младшего своего, больного, неподвижно. А у Петра Ульяновича кровь с коньяком, по-видимому, разыгралась, он из-за стола ненакрытого поднялся и подошел к Вальке вплотную, и говорит ей на повышенных тонах:

— Э, — говорит, — я к тебе обращаюсь или к стенке? — и дышит ей в нос парами.

Ну, Валька и пихнула его руками в грудь. А он повалился на спину всей массой и шишку себе набил на затылке размером с куриное яйцо средней величины. А Дарья Васильевна подросла и в волосы Вальке вцепилась, и оттащила ее как следует быть. А мужа Валькиного дома тогда не было. И Петр Ульянович недолго после этого инцидента пожил. Его скоро в больницу положили, и он месяца через четыре скончался.

От алкогольного цирроза печени. Потому что употреблял он крепкие спиртные напитки многие годы регулярно и в больших количествах. Работа у него была такая. А Дарья Васильевна еще на похоронах рассказывать всем начала, что он с тех пор, как головой ударился, болеть стал. И после похорон долго про это рассказывала при каждом удобном подвернувшемся случае и всегда в присутствии Вальки, чтоб, значит, обвинить ее косвенно, хотя и знали, конечно, все, что вранье это и наглая клевета и что никакой видимой связи не существует в природе между хронической болезнью цирроз печени и ударом головой об пол. И Валька Дарью Васильевну за эти ее происки откровенно в душе возненавидела, как врага народа. И если б вскорости она из декрета на работу не вышла, то совсем непонятно, чем бы оно кончилось, потому как целыми днями напролет очень затруднительно было Вальке переносить присутствие Дарьи Васильевны, вышедшей на заслуженный отдых в связи с безвременной смертью мужа, и соблюдать полное олимпийское спокойствие и все приличия. А если день — на работе, то это уже намного легче. Но у нее часто бывало и такое, что уйдет она на работу, отработает, а домой не может заставить себя возвратиться. Муж поедет, детей из детского комбината заберет, а она — то к подружке зайдет в гости, то на дружину с мужиками попрется, то отчет останется какой-нибудь срочный делать до позднего часа. И приходила домой если не в десять, то в одиннадцать — только бы поменьше Дарью Васильевну в непосредственной близости созерцать. А там постепенно и погуливать стала то с одним, то с другим, то с третьим. Чтоб, значит, время как-нибудь полезно убить. А муж ее, Валькин, детей накормит вечером, спать их положит и идет ее встречать. На трамвайную остановку. А она на такси приедет или на «Жигулях» каких-то красных, и с другой, противоположной стороны дома. Он посидит на остановке, покурит, придет домой, а она уже вернулась. Дарья Васильевна начнет скандал ей устраивать и стыдить ее, и проституткой называть, а Валька ухмыляется ей в глаза. Дарья Васильевна говорит:

— Чего ж ты ухмыляешься, рожа твоя бесстыжая?

А Валька ей отвечает:

— Извините, это у меня чисто нервное. Не обращайтесь внимания.

А сын от матери своей родной Вальку защищает и загораживает и говорит ей, что ты, Валя, потерпи, получим вот квартиру и уедем и будем жить. А Валька говорила ему, что покуда дадут нам эту квартиру, так жить тебе не с кем будет. И так оно и вышло в реальной действительности, как обещала она и предсказывала. Квартиру им через три с половиной года дали в новом высотном доме, а они почти одновременно с этим радостным событием развод оформили, потому что Валька и правда, совсем отвязалась недопустимо. Что да, то — да.

Ну, и уехала Валька и дети ее в новую квартиру, сын от Дарьи Васильевны тоже через время ушел, а она, Дарья Васильевна, продолжила за Валькой и за ее жизнью пристальное наблюдение вести через тех же самых своих хороших знакомых, которые с ней, с Валькой, работали бок о бок и все про нее знали до последних мелочей и Дарье Васильевне пересказывали. А Дарья Васильевна это в специальную тетрадку записывала (она эту тетрадку секретную давно аккуратно вела, чтоб ничего не забыть), и фамилии ее мужиков с именами-отчествами, и должности, и адреса с телефонами. Ну и подробности всевозможные изобличающие, которые становились ее достоянием, тоже в эту тетрадь прилежно она заносила. И мечтала, что вот настанет ее час, и она свою тетрадку передаст внукам из рук в руки и еще от себя на словах добавит про мать их такое, что, кроме нее, никто, ни один живой человек на свете им не расскажет. Правда, в тетрадке этой записей больше всего было еще из той эры, когда Валька у нее жила в невестках и с сыном ее в браке, а как уехала она и развелась, и стала сама себе жить, мало записей Дарье Васильевне удалось сделать. Потому что поостыла Валька основательно и времени свободного у нее, наверно, меньше стало для этих целей. И сначала, после переезда, был у нее всего один постоянный мужик, который ходил к ней по возможности, от случая к случаю, потом через какой-то срок появился еще один, а потом она и вовсе до того дошла, что с еврейчиком каким-то спуталась, такой плюгавый еврейчик, на полголовы ее ниже и с носом, волосами обросшим. Их Дарья Васильевна вместе раза три в городе видела, своими глазами, и считала, что это Валька специально, ей назло с ним связалась, так как точно знала, что не любит она, Дарья Васильевна, эту нацию до тошноты и дрожи. И Дарья Васильевна придумала в ответ на это такую злую шутку. Поставит себе будильник на два часа ночи и позвонит им, гадам, по телефону. Еврейчик трубку возьмет, а она его — матом. И трубку бросит. И опять спать ложится. Но и они тоже поняли, чья это работа, и отомстили ей. Взяли и выписали на ее адрес газету ихнюю, еврейскую, чтобы тем самым оскорбить и унизить ее человеческий облик и достоинство.

А потом, с течением времени, окончательно сведения к Дарье Васильевне поступать перестали из-за того, что понемногу никого ее знакомых в окружении Вальки не осталось и из-за того, что начала Дарья Васильевна тяжело страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями и ослабевать, и не стало у нее физической возможности заниматься Валькиной развратной жизнью. Но у нее и так достаточное количество фактов скопилось в тетрадке, больше ей и не надо было.

И вот исполнилось Дарье Васильевне ровно семьдесят пять лет, и стало у нее совсем сердце работать плохо и с перебоями, и собралась она тогда с силами и поехала к Вальке. В первый раз за это последнее десятилетие, потому что внуки ее теперь доросли до нужного возраста

и могли все сознательно понять и оценить по уму и чести. И приехала она к Валькиному дому, зашла в подъезд, а лифт не работает. Ремонт. А Валька на двенадцатом этаже живет. Ну и полезла Дарья Васильевна пешком с передышками в гору, чтоб не возвращаться ни с чем, раз уж собралась она и приехала. И лезла она, лезла на этот высокий этаж — около часа примерно лезла. И вот долезла-таки она до поставленной цели, победив все препятствия, и позвонила длинно в Валькину квартиру № 126, а дверь никто не открыл. И еще много раз позвонила Дарья Васильевна безуспешно, и ничего ей не осталось, кроме как в обратную дорогу тронуться, по ступенькам вниз. И тут у нее сердце работать отказалось, и она села медленно на цементный пол между лестницами, а потом легла. И померещилось Дарье Васильевне, что Валька над ней стоит, в головах, и сверху на нее смотрит и ухмыляется своей известной ухмылкой, и захотела Дарья Васильевна сказать ей, что прости-тутка же она, Валька, и больше никто, но произнести эти справедливые слова Дарье Васильевне мешало что-то, ей непонятное. И хорошо, что мешало, потому что стояла над ней не Валька, а чужая посторонняя женщина, а Валька никак не могла тут стоять в силу того, что она с детьми и с нынешним своим мужем, или кем он там ей доводился, ну, в общем, с еврейчиком этим самым, отдыхать укатила на берег Азовского моря, в пансионат «Прибой». И эта случайная женщина вызвала «скорую помощь», и прибывший по ее вызову врач осмотрел Дарью Васильевну и сказал, как отрезал:

— Инфаркт.

Ну и спустили Дарью Васильевну со всяческими предосторожностями на носилках вниз, погрузили через заднюю дверь в «скорую помощь» и повезли с воем сирены по улицам города в больницу. Но так и не довезли. И что с ее телом произошло в дальнейшем — неизвестно, так как никаких документов, удостоверяющих личность, при ней не обнаружилось, а хватиться Дарьи Васильевны и заметить вовремя, что исчезла она из поля зрения, тоже было особенно некому по той простой причине, что стояла тогда на дворе пора очередных летних отпусков, самый разгар, и сын ее в данный конкретный момент так же, как и Валька, проводил свой отпуск — вот, значит, как все неудачно трагически совпало. И проводил он его, отпуск, пlying где-то вниз по течению в веселой компании со своей женой не то на байдарке, не то на каноэ. Они каждое лето в отпуске по разным горным речкам спускались с риском для жизни — хобби у них было такое престижное, увлечение. А других родственников Дарья Васильевна не имела. Была у нее старшая родная сестра Стеша, прожившая всю свою жизнь одинокой старой девой, да пять лет тому назад умершая.

Но самое глупое тут — это то, что зря и напрасно Дарья Васильевна лезла на Валькин двенадцатый этаж при своем непригодном сердце

и такую головокружительную высоту преодолевала, ведь мало того, что внуки ее, к которым шла Дарья Васильевна и стремилась, оба на месте отсутствовали, так она еще и тетрадку свою бесценную дома оставила. Забыла про нее Дарья Васильевна совершенно, ну просто совсем начисто забыла.

РАВНОБЕДРЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Интимной жизнью Митя Салов жил с двумя женщинами одновременно. И не так жил, как все прочие представители мужского пола во всем мире живут, — когда одна женщина служит мужчине женой, а другая, как говорится, любовницей. У Мити Салова обе они, его женщины, женами не являлись. С женами Салов расстался раньше: с первой по счету из-за несхождения характерами, а со второй — по экономическим мотивам. И теперь вот имелось у него в наличии сразу две женщины, одна из которых была Мариной, а другая — Галиной или еще проще — Галей. И имел он их двух, так сказать, в единицу времени не потому что у него был низкий моральный облик, а потому что по обстоятельствам так вышло. Сами. И он Марину очень искренно любил, и Галину тоже любил. И каждую из них любил Митя Салов по-своему и по отдельности от другой. И они, женщины, со своей стороны отвечали Мите взаимностью чувств и благодарностью за доставленное счастье в жизни. А Митя, в свою очередь, старался как мог никого из них не обижать и встречаться и с Мариной, и с Галей приблизительно на равных условиях и уделять им примерно равное количество внимания и времени. Он для себя набросал как бы план в виде графика по числам месяца и дням недели и пользовался этим графиком при организации своего досуга и при распределении его между Мариной и Галей по справедливости и по совести — ну раз уж образовался у них такой, что ли, своеобразный равнобедренный треугольник. Ведь же Салов не хотел специально, по расчету, чтоб у него было целых две женщины. Он хотел, чтобы была только одна какая-нибудь. Он конкретно для этой цели и завязал знакомство с Мариной в пансионате «Лесной». Он по путевке профсоюза тридцатипроцентной стоимости проводил там свой очередной отпуск. И она, Марина, проводила свой отпуск в этом же пансионате. И они в нем встретились и познакомились, и полюбили друг друга, имея в виду далеко идущие намерения на будущее.

А с Галиной Салова сама же Марина и познакомила, по собственному желанию. Уже когда они отпуск провели и обратно в город вернулись. Галина подругой была Марине со школьной парты и, конечно, Марина ее с Саловым познакомила, не утерпела. И, конечно, Салова нельзя обвинять в том, что он на нее оказал неизгладимое впечатление своей обаятельной наружностью и что она, Галина, ему понравилась не мень-

ше Марины. А Марина тоже — как раньше нравилась, так и осталась нравиться, несмотря на Галину. И ему захотелось, чтоб и Марина была с ним, как и прежде до этого, и Галину тоже он хотел сохранить при себе и любить, тем более что и она, так же, как и подруга ее Марина, в браке ни с кем не состояла, и препятствий никаких в этой области у Салова с ней создаться не могло.

Вот так, значит, это все выглядело насчет возникновения у Мити Салова двух женщин параллельно. И теперь он ходил то к Марине, то к Гале. То с Мариной делил свое личное время, то с Галиной. А иногда бывало, что и с обеими с ними вместе. Допустим, надо идти ему к Марине, а вдруг появляется желание и Галину повидать вне плана, ну он ей позвонит с работы, так как у него не было домашнего телефона, и скажет, что к Марине сегодня пойдет, а она тоже тогда созвонится с Мариной и тоже к ней в гости попросится. И они все втроем в таких случаях вечер отдыхали. И Салов после этого у Марины не оставался, а, наоборот, шел с ее, Мариногого, согласия и, уступая ее убедительным просьбам, Галину провожать, чтоб не страшно ей было поздно домой возвращаться. И оставался у Галины. И с ней ночевал.

Конечно, Галину не особо радовало и устраивало такое ее двусмысленное положение в отношениях с Митей, но она придерживалась того мнения, что лучше иметь хоть какую-нибудь свою личную жизнь, чем не иметь вообще никакой совсем, тем более что он, Митя, обещал ей связь с Мариной прекратить, но как-нибудь постепенно, чтоб не причинять ей чрезмерной душевной боли и излишних мук и страданий. А Марине Салов никаких обещаний не давал, так как она про их с Галей тайную близость и связь не догадывалась и находилась в полном неведении. Но и прекращать с ней отношения в соответствии с обещанием, данным Гале, Салову не улыбалось и не хотелось. Ему же хорошо было и с Мариной, и с Галей. С Мариной, например, ему более интересно было в общении, потому что она и книжек много прочитала и вообще, а с Галей Салову лучше было в интимном смысле слова. И готовить она умела разные вкусные блюда восточной кухни. Ну, короче, они как бы дополняли в его глазах одна другую, и без любой из них ему было бы намного хуже и скучнее жить на свете. И им без него тоже было бы хуже. А так все-таки всем им троим вместе взятым было вполне более-менее. Только с праздниками проблемы перед Саловым вставали, так как праздники же и Марина хотела праздновать в компании с Митей, и Галина хотела быть с ним, а не в полном одиночестве. А Салов, как всегда, и Марине не мог отказать, и Галине. И поэтому он совсем падал духом от безвыходности обстановки и соглашался дежурить на своем производственном предприятии по двенадцать часов за оплату в двойном размере. А они — Марина и Галя — звонили ему в дежурку по телефону и разговаривали с ним. И обе жалели, что он вынужден нести праздничные де-

журства в то время, когда все люди всей страны празднуют и отдыхают в свое удовольствие, и высказывали ему справедливые нарекания и упреки за то, что он дает согласие на эти дежурства, хотя мог бы и не давать. А Салов говорил им обоим одно и то же — что не может он не давать согласия, если хочет, чтоб ему не мотали нервы и давали спокойно работать и жить. Говорил он им так, а сам про себя думал, что вот же и Новый год уже не за горами, а на Новый год этот спасительный вариант с дежурством никак не пройдет, ни под каким соусом и видом. И не надо бы им, Марине то есть и Гале, портить праздничное настроение и кровь. Он же, Салов, наоборот, хотел, чтоб и им, и ему хорошо всегда было, а получалось, что выходило прямо противоположное. И надо было с этим что-нибудь срочно делать и предпринимать, а что — неясно и неизвестно. И Салов не предпринимал вообще ничего. Он пустил все на самотек, чтоб, значит, само собой что-нибудь произошло и разрешило весь этот гамлетовский вопрос. И в конце концов, конечно, произошло то, что всегда происходит в результате тесных половых контактов между мужчиной и женщиной. А именно, произошла у Гали беременность. Салов как-то пришел к ней по своему графику и говорит, что пошли, сходим куда угодно, в кафе, что ли, мороженого съедим мягкого или вина выпьем в дегустационном зале «Нектар». А Галя говорит ему:

— Не хочу я.

А Салов говорит:

— Почему это ты не хочешь?

А она отвечает, что не хочу, вот и все. И пить не хочу, и мороженого. Не лезет мне, говорит, внутрь никакая пища.

А Салов ей тогда говорит:

— Может, тебе, — говорит, — в таком случае к врачу сходить надо, состояние здоровья обследовать?

А Галя говорит:

— Да была я у врача. И состояние здоровья, — говорит, — у меня в пределах нормы, если принимать во внимание мое положение.

— Какое твое положение? — Салов у нее спрашивает.

А она отвечает:

— Ну, обыкновенное женское положение. Беременность.

— Это тебе врач лично сказал? — Салов спрашивает.

А она говорит:

— Лично.

И начинает плакать. А Салов вытер руками ей с лица слезы и говорит:

— Ты, — говорит, — это, давай одевайся нарядно. В ЗАГС пойдем.

А Галя говорит:

— Честно?

— А Салов ей отвечает:

— Ну!

И Галя быстренько оделась и лицо с прической перед зеркалом подправила. Собралась, значит, и спрашивает:

— Митя, а как с Мариной теперь?

— А с Мариной, — Салов ей говорит уверенно, — теперь все. Покончено навсегда.

Ну и пошли они в райотдел Дворца бракосочетаний и составили заявления, что, мол, желают создать еще одну новую семью и быть мужем и женой. А оттуда, из Дворца, Салов решил ехать непосредственно к Марине. Чтoб не откладывать эту тему в долгий ящик.

— Я, — сказал, — сейчас к ней поеду, а ты иди домой и жди моего к тебе скорого возвращения.

И вот приехал Митя Салов к Марине, а она отперла ему дверь и говорит:

— О, — говорит, — как удачно, что ты пришел. Ты, — говорит, — наверно, почувствовал, да? И пришел.

А Салов ей отвечает, что просто пришел, по одному делу, и «Что это я, — спрашивает, — мог такого почувствовать?».

А Марина ему говорит весело:

— А то, — говорит, — что у нас с тобой ребенок будет.

— Кто у нас будет? С тобой? — Салов спрашивает.

— Ну ребенок, — Марина говорит и повторяет еще раз: — ребенок.

И после повторения этого слова «ребенок» у Салова, видно, что-то на лице изменилось. Или отразилось, может быть. Потому что Марина глянула на его лицо и спросила:

— Ты что это, — спросила, — не рад?

А Салов сначала замаялся на какое-то неопределенное время, а потом говорит:

— Чего это я не рад? Я рад.

И замолчал. А Марина говорит:

— Мить, — говорит, — а ты на мне теперь женишься или как?

— Женюсь, — Салов ей отвечает. — Конечно. Куда ж я, — отвечает, — денусь?

Ну, Марина обниматься полезла, а он, Салов, говорит:

— Только я сейчас на минутку забежал. К тебе. По одному делу. И мне обратно надо бежать. Назад. А завтра я позвоню и, это, приду. И женюсь. На тебе.

И Салов ушел от Марины и поехал не к Гале, а к себе. Домой. Сел в троллейбус и поехал. А в троллейбусе в этом, куда он сел, в нем ехали следующие люди: сзади ехали двое парней подросткового возраста с такого же близкого возраста девушкой, и девушка эта сидела на руках у одного парня и целовалась с другим парнем. Потом там ехала группа женщин, находящихся в алкогольном опьянении высокой степени,

а одеты они были в натуральные меховые изделия, и на пальцах у них блестело по многу колец с камнями и без камней, и все они ругали матерными словами и выражениями сучка Геру Мухина. Еще в троллейбусе ехал старый дед с костылем и без левой ноги. Он лежал, обняв свой костыль, в проходе на полу и спал, и от него пахло свежей мочой. А на сиденье впереди, которое развернуто против хода троллейбуса, ехал плоский человек с зеленой гармошкой. Человек был вроде как не в себе. Он таскал гармошку туда и сюда и дурным голосом на одной ноте орал украинскую народную песню:

Ты ж мэнэ подманула,
Ты ж мэнэ подвэла,
Ты ж мэнэ молодого
З ума-розуму звэла.

Так орал этот человек всю дорогу без передыху. А когда троллейбус приехал на конечную остановку и остановился, и открыл все двери, из них никто не вышел. Ни один человек не вышел. И Митя Салов не вышел. И водитель троллейбуса включил микрофон и сказал в него по типу того, как, слышал он, говорят в метрополитене города Москвы:

— Конечная,— сказал водитель в микрофон,— троллейбус дальше не пойдет, большая просьба освободить салон.

Но и водителя никто не послушал. Или же его не услышали. Или не поняли из-за звуков гармошки и голоса плоского человека, который все громче и громче орал свою жуткую песню, и песня эта не имела в его исполнении ни конца, ни смысла.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Отстрел	3
Дурацкий случай	6
Дочка Шура	8
Цветная рубашка	11
Острый живот	15
Свет в кухне	17
Дом	23
Лишняя десятка	25
Ноль градусов	31
Батальная пастораль	34
Тетрадка	36
Равнобедренный треугольник	42

ХУРГИН Александр Зиновьевич

ЛИШНЯЯ ДЕСЯТКА

Рассказы

Редактор Б. Д. Минаев

Технический редактор Е. А. Колесникова

Сдано в набор. 20.06.91. Подписано к печати 29.07.91.
Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд».

Офсетная печать.

Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,11.

Тираж 89000 экз. Зак. № 647. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ «Тайна земли обетованной»;
А. ПЛАТОНОВ «Технический роман»;
В. КАРДИН «К вопросу о белых перчатках»;
А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ «РОССИЯ — POESIA»;
В. ТОКАРЕВА «Старая собака»;
З. ГИППИУС «Последние стихи»;
В. ЕРОФЕЕВ «Попугайчик»;
Ф. ИСКАНДЕР «Поэты и цари».